

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 1850



ДАЛЬНЕЙШИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНСОНА
КРУЗО



Annotation

Много лет спустя после возвращения в Англию Крузо решился вновь посетить свой остров. На обратном пути на родину его ждали невероятные приключения: он побывал на Мадагаскаре, в Индии, где прожил долгие годы, в Китае, Сибири и из Архангельска морем добрался до Англии.

- [Даниэль Дефо](#)

-

Даниэль Дефо
ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО,
составляющие вторую и последнюю часть
его жизни, и захватывающее изложение
его путешествий по трем частям света,
написанные им самим

Народная пословица: *каков в колыбельку, таков и в могилку* нашла себе полное оправдание в истории моей жизни. Если принять в расчет мои тридцатилетние испытания, множество пережитых мною разнообразных невзгод, какие выпадали на долю, наверное, лишь очень немногих, семь лет жизни, проведенных мною в спокойствии и довольстве, наконец, мою старость, — если вспомнить, что я изведаль жизнь среднего сословия во всех ее видах и узнал, который из них всего легче может доставить человеку полное счастье, — то, казалось, можно было бы думать, что природная склонность к бродяжничеству, как я уже говорил, с самого появления моего на свет овладевшая мной, должна была бы ослабеть, ее летучие элементы испариться или, по крайней мере, сгуститься, и что в 61 год у меня должно было явиться стремление к оседлой жизни и удержать меня от походов, угрожающих опасностью моей жизни и моему состоянию.

Притом же для меня не существовало того мотива, который побуждает обыкновенно отправляться в дальние странствия: мне не к чему было добиваться богатства, нечего было искать. Если б я нажил еще десять тысяч фунтов стерлингов, я не сделался бы богаче, так как я уже имел вполне достаточно для себя и для тех, кого мне нужно было обеспечить. При том же, капитал мой видимо возрастал, так как, не имея большого семейства, я даже не мог истратить всего своего дохода, — разве что стал бы расходовать деньги на содержание множества слуг, экипажи, развлечения и тому подобные вещи, о которых я не имел никакого представления и к которым не чувствовал ни малейшей склонности. Таким образом мне оставалось только сидеть себе спокойно, пользоваться приобретенным

мною и наблюдать постоянное увеличение моего достатка.

Однако, все это не оказало на меня никакого влияния и не могло подавить во мне стремления к странствованиям, которое развилось во мне положительно в хроническую болезнь. Особенно сильно было во мне желание взглянуть еще раз на мои плантации на острове и на колонию, которую я оставил на нем. Каждую ночь я видел свой остров во сне и мечтал о нем по целым дням. Мысль эта парила над всеми другими, и мое воображение так усердно и напряженно разрабатывало ее, что я говорил об этом даже во сне. Одним словом, ничто не могло выбить из моей головы намерение съездить на остров; оно так часто прорывалось в моих речах, что со мной стало скучно разговаривать; я не мог говорить ни о чем другом: все разговоры сводились у меня к одному и тому же; я всем надоел и сам замечал это.

Мне часто доводилось слышать от рассудительных людей, что всякие рассказы о привидениях и духах возникают вследствие пылкости воображения и усиленной работы фантазии, что никаких духов и привидений не существует и т.д. По их словам, люди, вспоминая свои былые беседы с умершими друзьями, так живо представляют их себе, что в некоторых исключительных случаях способны вообразить, будто видят их, разговаривают с ними и получают от них ответы, тогда как в действительности ничего подобного нет, и все это им только чудится.

Сам я и посейчас не знаю, существуют ли привидения, являются ли люди другим после своей смерти и бывают ли у таких рассказов более серьезное основание, чем нервы, бред вольного ума и расстроенное воображение, но я знаю, что мое воображение часто доводило меня до того, что мне казалось, будто я опять на острове близ моего замка, будто передо мной стоят старик испанец, отец Пятницы и взбунтовавшиеся матросы, которых я оставил на острове. Мне чудилось, что я разговариваю с ними и вижу их так же ясно, как если бы они на самом деле были у меня перед глазами. Часто мне самому становилось жутко — так живо рисовало мое воображение все эти картины. Однажды мне приснилось с поразительной яркостью, что первый испанец и отец Пятницы рассказывают мне о гнусных поступках трех пиратов, о том, как эти пираты пытались варварски перебить всех испанцев и как они подожгли весь запас провианта, отложенного испанцами, чтобы умерить их голодом. Ни о чем подобном я не слыхал, а между тем все это было фактически верно. Во сне же это представилось мне с такой отчетливостью и правдоподобием, что вплоть до того момента, когда я увидал мою колонию на самом деле, меня невозможно было убедить, что все это не было правдой. И как же я во сне

негодовал и возмущался, слушая жалобы испанца, какой суровый суд я учинил над виновными, подверг их допросу и велел всех троих повесить. Сколько во всем этом было правды — выяснится своевременно. Скажу только, что, хотя я и не знаю, как я добрался до этого во сне и что мне внушило такие предположения, в них было многое верно. Не могу сказать, чтобы сон мой был правилен во всех подробностях, но в общем в нем было так много правды, гнусное и низкое поведение этих троих мерзавцев было таково, что сходство с действительностью оказалось поразительное, и мне на самом деле пришлось строго наказать их. Даже если бы я их и повесил, то поступил бы справедливо и был бы прав перед законом божеским и человеческим. Но возвращаюсь к моему рассказу. Так я прожил несколько лет. Для меня не существовало никаких других удовольствий, никакого приятного препровождения времени, никаких развлечений, кроме мечтаний об острове; жена моя, видя, что моя мысль занята им одним, сказала мне однажды вечером, что, по ее мнению, в моей душе звучит голос свыше, повелевающий мне отправиться снова на остров. Единственным препятствием к этому были, по ее словам, мои обязанности перед женой и детьми. Она говорила, что не может допустить и мысли о разлуке со мной, но так как она уверена, что, умри она, я бы первым делом поехал на остров и что это уже решено там наверху, то она не желает быть мне помехой. А потому, если я действительно считаю необходимым и уже решил ехать... — тут она заметила» что я внимательно прислушиваюсь к ее словам и пристально смотрю на нее; что ее смутило, и она остановилась. Я спросил ее, отчего она не досказала, и просил продолжать. Но я заметил, что она была слишком взволнована и что в глазах ее стояли слезы. — «Скажи мне, дорогая», начал я, «желаешь ли ты, чтоб я поехал?» «Нет», ответила она ласково, «я далека от того, чтобы желать этого. Но если ты решился поехать, то я уж лучше поеду с тобой, чем буду тебе помехой. Хотя я и думаю, что в твои годы и в твоём положении слишком рискованно думать об этом, — продолжала она со слезами на глазах, — но раз уже так суждено, я не оставлю тебя. Если такова воля неба, противиться бессмысленно. И если небу угодно, чтобы ты поехал на остров, то оно же указывает мне, что мой долг ехать с тобой или устроить так, чтобы я не послужила для тебя препятствием».

Нежность жены несколько отрезвила меня; поразмыслив о своём образе действий, я обуздал свою страсть к путешествиям и начал рассуждать с самим собой, какой смысл имело для шестидесятилетнего человека, за которым лежала жизнь, полная стольких лишений и невзгод и закончившаяся столь счастливо, — какой смысл, говорю я, могло иметь для

такого человека снова отправляться в поиски приключений и отдавать себя на волю случайностей, навстречу которым идут только молодые люди и бедняки?

Думал я также о новых обязательствах, принятых мною на себя, — о том, что у меня есть жена и ребенок и что моя жена носит под сердцем другого ребенка, — что у меня есть все, что могла дать мне жизнь, и что мне нет надобности рисковать собой ради денег. Я говорил себе, что я уже на склоне лет и мне приличнее думать о том, что скоро мне придется расстаться со всем приобретенным мною, а не об увеличении своего достатка. Я думал о словах моей жены, что такова воля неба и что поэтому я *должен* ехать на остров, но лично я вовсе не был уверен в этом. Поэтому после долгих размышлений я стал бороться с своим воображением и кончил тем, что урезонил себя, как это может сделать, наверное, и каждый в подобных случаях, если только захочет. Одним словом, я подавил свои желания; я поборол их при помощи доводов рассудка, которых, в моем тогдашнем положении, можно было привести очень много. Особенно же я старался направить свои мысли на другие предметы и решил начать какое нибудь дело, которое могло бы отвлечь меня от мечтаний о поездке на остров, так как я заметил, что они овладевали мною главным образом тогда, когда я предавался праздности, когда у меня не было никакого дела вообще или, по крайней мере, неотложного дела.

С этой целью я купил небольшую ферму в графстве Бедфорд и решил переселиться туда. Там был небольшой удобный домик, и в хозяйстве можно было произвести существенные улучшения. Такое занятие во многих отношениях соответствовало моим наклонностям, притом же местность эта не прилегала к морю, и там я мог быть спокоен, что мне не придется видеть корабли, матросов и все то, что напоминало о дальних краях.

Я поселился на своей ферме, перевез туда семью, накупил плугов, борон, тележку, фургон, лошадей, коров, овец и серьезно принялся за работу. Через полгода я сделался настоящим сельским хозяином. Мой ум всецело был поглощен надзором за рабочими, обработкой земли, устройством изгородей, посадкой деревьев и т.п. И такой образ жизни мне казался самым приятным из всех, какие могут достаться, в удел человеку, испытавшему в жизни одни только невзгоды.

Я хозяйничал на собственной земле, — мне не приходилось платить аренды, меня не стесняли никакие условия, я мог строить или разрушать по своему усмотрению; все, что я делал и предпринимал, шло на пользу мне и моему семейству. Отказавшись от мысли о странствиях, я не терпел в своей

жизни никаких неудобств. Теперь то, казалось мне, я достиг той золотой середины, которую так горячо рекомендовал мне отец, блаженной жизни, подобной той, которую описывает поэт, воспевая сельскую жизнь:

Свободную от пороков, чуждую забот,
Где старость не знает болезней, а юность соблазнов.

Но среди всего этого блаженства меня поразила тяжелый удар, который не только непоправимо разбил мне жизнь, но и снова оживил мои мечты о странствиях. И эти мечты овладели мной с непреодолимой силой, подобно поздно вернувшемуся вдруг тяжелому недугу. И ничто не могло теперь отогнать их. Этим ударом была для меня смерть жены.

Я не собираюсь писать элегию на смерть своей жены, описывать ее добродетели и льстить слабому полу вообще в надгробной речи. Скажу только, что она была душой всех моих дел, центром всех моих предприятий, что она своим благоразумием постоянно отвлекала меня от самых безрассудных и рискованных планов, роившихся в моей голове, как было сказано выше, и возвращала меня к счастливой умеренности; она умела укрощать мой мятущийся дух; ее слезы и просьбы влияли на меня больше, чем могли повлиять слезы моей матери, наставления отца, советы друзей и все доводы моего собственного разума. Я чувствовал себя счастливым, уступая ей, и был совершенно удручен и выбит из колеи своей утратой.

После ее смерти все окружающее стало казаться мне безрадостным и неприглядным. Я чувствовал себя в душе еще более чужим здесь, чем в лесах Бразилии, когда я впервые ступил на ее берег, и столь же одиноким, как на своем острове, хотя меня и окружала толпа слуг. Я не знал, что мне делать и чего не делать. Я видел, как вокруг меня суетились люди; одни из них трудились ради хлеба насущного, а другие растрачивали приобретенное в гнусном распутстве или суетных удовольствиях, одинаково жалких, потому что цель, к которой они стремились, постоянно отдалялась от них. Люди, гнавшиеся за увеселениями, каждый день пресыщались своим пороком и копили материал для раскаяния и сожаления, а люди труда растрачивали свои силы в повседневной борьбе из за куска хлеба. И так проходила жизнь в постоянном чередовании скорбей; они жили только для того, чтобы работать, и работали ради того, чтобы жить, как будто добывание хлеба насущного было единственной целью их многотрудной жизни и как будто трудовая жизнь только и имела целью

доставить хлеб насущный.

Мне вспомнилась тогда жизнь, которую я вел в своем царстве, на острове, где мне приходилось возделывать не больше хлеба и разводить не больше коз, чем мне было нужно, и где деньги лежали в сундуках, пока не заржавели, так как в течение двадцати лет я даже ни разу не удостоил взглянуть на них

Все эти наблюдения, если бы я воспользовался ими так, как подсказывали мне разум и религия, должны бы были показать мне, что для достижения полного счастья не следует искать одних только наслаждений, что существует нечто высшее, составляющее подлинный смысл и цель жизни, и что мы можем добиться обладания или надеяться на обладание этим смыслом еще до гроба.

Но моей мудрой советчицы уже не было в живых, и я был подобен кораблю без кормчего, несущемуся по воле ветра. Мои мысли опять направились на прежние темы, и мечты о путешествии в далекие страны снова стали кружить мне голову. И все то, что служило для меня прежде источником невинных наслаждений: ферма, сад, скот, семья, всецело владевшие прежде моей душой, утратили для меня всякое значение и всякую привлекательность. Теперь они были для меня все равно что музыка для глухого или еда для человека потерявшего вкус: короче говоря, я решил бросить хозяйство, сдать в наем свою ферму и вернуться в Лондон. И через несколько месяцев я это и сделал.

Переезд в Лондон не улучшил моего душевного состояния. Я не любил эту города, мне там нечего было делать и я бродил по улицам как праздничной, о котором можно сказать что он совершенно бесполезен в мироздании ибо никому нет дела до того жив он или умер. Такое праздное препровождение времени были мне, как человеку, ведущему всегда очень деятельную жизнь, в высшей степени противно и часто я говорил себе: «Нет более унизительного состояния в жизни, чем праздность». И действительно, мне казалось, что я с большей пользой провел время когда в течение двадцати шести дней делал одну доску.

В начале 1693 г вернулся домой из первого своего небольшого путешествия в Бильбао мой племянник, которого как я уже говорил раньше, я сделал моряком и капитаном корабля. Он явился ко мне и сообщил что знакомые купцы предлагают ему съездить за товарами в Ост-Индию и Китай. «Если вы, дядя», сказал он мне, «поедете со мною, то я могу высадить вас на вашем острове, так как мы зайдем в Бразилию».

Самым убедительным доказательством существования будущей жизни и невидимого мира является совпадение внешних причин, побуждающих

нас поступить так, как внушают нам наши мысли, которые мы создаем в своей душе совершенно самостоятельно и не сообщая о них никому.

Мой племянник ничего не знал о том, что мое болезненное влечение к странствованиям проснулось во мне с новой силой, а я совершенно не ожидал, что он явится ко мне с подобным предложением. Но в это самое утро, после долгого размышления, я пришел к решению съездить в Лиссабон и посоветоваться с моим старым другом капитаном, а затем, если бы он нашел это осуществимым и разумным, опять поехать на остров посмотреть, что случилось с моими людьми. Я носился с проектами заселения острова и привлечения переселенцев из Англии, мечтал взять патент на землю и о чем только я ни мечтал. И вот как раз в этот момент является мой племянник с предложением завезти меня на остров по дороге в Ост-Индию.

Устремив на него пристальный взгляд, я спросил: «Какой дьявол натолкнул тебя на эту гибельную мысль?» Это сначала ошеломило моего племянника, но скоро он заметил, что его предложение не доставило мне особенного неудовольствия, и ободрился, «Я надеюсь, что она не окажется гибельной», сказал он, «а вам, наверное, приятно будет увидеть колонию, возникшую на острове, где вы некогда царствовали более счастливо, чем большинство монархов в этом мире».

Одним словом, его проект вполне соответствовал моему настроению, т.е. тем мечтам, которые владели мной и о которых я уже говорил подробно; и я ему ответил в немногих словах, что если он сговорится со своими купцами, то я готов ехать с ним, но, может быть, и не уеду дальше своего острова. «Неужели же вы хотите опять остаться там?» спросил он. «А разве ты не можешь взять меня на обратном пути?» Он ответил, что купцы ни в каком случае не разрешат ему сделать такой крюк с кораблем, нагруженным товарами, представляющими большую ценность, так как на это уйдет не меньше месяца времени, а может быть и три и четыре месяца. «Сверх того, ведь я же могу потерпеть крушение и совсем не вернуться, — прибавил он, — тогда вы очутитесь в таком же положении, в каком были раньше».

Это было очень резонно. Но мы вдвоем нашли средство помочь горю: мы решили взять с собой на корабль в разобранном виде шлюпку, которую с помощью нескольких взятых нами плотников можно бы было в несколько дней собрать на острове и спустить на воду.

Я не долго раздумывал. Неожиданное предложение племянника так соответствовало моим собственным стремлениям, что ничто не могло воспрепятствовать мне принять его. С другой стороны, после смерти моей жены, некому было заботиться обо мне настолько, чтобы уговаривать меня

поступить так или иначе, исключая моего доброго друга, вдовы капитана, которая серьезно отговаривала от доездки и убеждала принять в соображение мои лета, материальную обеспеченность, опасности продолжительного путешествия, предпринимаемого безо всякой надобности, и, в особенности, моих маленьких детей. Но все это не оказало на меня ни малейшего действия. Я чувствовал непреодолимое желание побывать на острове и ответил моей приятельнице, что мои мысли об этой поездке носят столь необычайный характер, что оставаться дома значило бы восставать против провидения. После этого она перестала разубеждать меня и начала даже сама помогать мне не только в приготовлениях к отъезду, но даже и в хлопотах об устройстве моих семейных дел и в заботах о воспитании моих детей.

Чтобы обеспечить их, я составил завещание и поместил свой капитал в верные руки, приняв все меры к тому, чтобы дети мои не могли быть обижены, какая бы участь ни постигла меня. Воспитание же их я всецело доверил моей приятельнице вдове, назначив ей достаточное вознаграждение за труды. Этому она вполне заслужила, ибо даже мать не могла бы больше ее заботиться о моих детях и лучше направлять их воспитание, и как она дожила до моего возвращения, так и я дожил до того, чтоб отблагодарить ее.

В начале января 1694 года мой племянник был готов к отплытию, и я со своим Пятницей явился на корабль в Даунс 8-го января. Помимо упомянутой шлюпки я захватил с собой значительное количество всякого рода вещей, необходимых для моей колонии, на случай, если бы я застал ее в неудовлетворительном состоянии, ибо я решил во что бы то ни стало оставить ее в цветушем.

Прежде всего я позаботился о том, чтобы взять с собой некоторых рабочих, которых предполагал поселить на острове или, по меньшей мере, заставить работать за свой счет во время пребывания там и затем предоставить им на выбор или остаться на острове, или же вернуться со мной. В числе их было два плотника, кузнец и один ловкий смышленный малый, по ремеслу бочар, но вместе с тем мастер на всякие механические работы. Он умел смастерить колесо и ручную мельницу, был хорошим токарем и горшечником и мог сделать решительно все, что только выделяется из глины и дерева. За это мы прозвали его «мастером на все руки».

Сверх того, я взял с собою портного, который вызвался ехать с моим племянником в Ост-Индию, но потом согласился отправиться с нами на нашу новую плантацию и оказался полезнейшим человеком не только в

том, что относилось до его ремесла, но и во многом другом. Ибо, как я уже говорил, нужда научает всему.

Груз, взятый мною на корабль, насколько я могу припомнить в общем, — я не вел подробного счета, — состоял из значительного запаса полотна и некоторого количества тонких английских материй для одежды испанцев, которых я рассчитывал встретить на острове; всего этого по моему расчету было взято столько, чтобы хватило на семь лет. Перчаток, шляп, сапог, чулок и всего необходимого для одежды, насколько я могу припомнить, было взято больше, чем на двести фунтов, включая несколько постелей, постельные принадлежности и домашнюю утварь, в особенности кухонную посуду: горшки, котлы, оловянную и медную посуду и т.п. Кроме того, я вез с собой на сто фунтов железных изделий, гвоздей всякого рода инструментов, скобок, петель, крючков и разных других необходимых вещей, какие только пришли мне тогда в голову.

Я захватил с собой также сотню дешевых мушкетов и ружей, несколько пистолетов, значительное количество патронов всяких калибров, три или четыре тонны свинца и две медных пушки. И так как я не знал, на какой срок мне нужно запастись и какие случайности могут ожидать меня, то я взял сто боченков пороха, изрядное количество сабель, тесаков и железных наконечников для пик и аллебард, так что, в общем, у нас был большой запас всяких товаров, уговорил своего племянника взять с собой про запас еще две небольших шканцовых пушки, помимо тех, что требовались для корабля, с тем, чтобы выгрузить их на острове и затем построить форт, который мог бы обезопасить нас от нападений. Вначале я был искренно убежден, что все это понадобится и даже, пожалуй, окажется недостаточным для того, чтобы удержать остров в наших руках. Читатель увидит в дальнейшем, насколько я был прав.

Во время этого путешествия мне не пришлось изведать стольких неудач и приключений, как это обыкновенно бывало со мной, и потому мне реже придется прерывать рассказ и отвлекать внимание читателя, которому, может быть, хочется поскорей узнать о судьбе моей колонии. Однако, и это плавание не обошлось без неприятностей, затруднений, противных ветров и непогод, вследствие чего путешествие затянулось дольше, чем я рассчитывал, а так как из всех моих путешествий я только один раз — а именно в первую мою поездку в Гвинею — благополучно доехал и вернулся в назначенный срок, то и тут я уже начинал думать, что меня попрежнему преследует злой рок и я уж так устроен, что мне не терпится на суше и всегда не везет на море.

Противные ветры сначала погнали нас к северу, и мы были

вынуждены зайти в Голуби, в Ирландии, где мы простояли по милости неблагоприятного ветра целых двадцать два дня. Но здесь по крайней мере было одно утешение: чрезвычайная дешевизна провизии; притом же здесь можно было достать все, что угодно, и за все время стоянки мы не только не трогали корабельных запасов, но даже увеличили их. Здесь я купил также несколько свиней и двух коров с телятами, которых я рассчитывал в случае благоприятного переезда высадить на моем острове, но ими пришлось распорядиться иначе.

Мы оставили Ирландию 5-го февраля и в течение нескольких дней шли с попутным ветром. Около 20-го февраля, помнится, поздно вечером пришел в каюту стоявший на вахте помощник капитана и сообщил, что он видел огонь и услышал пушечный выстрел; не успел он окончить рассказа, как прибежал юнга с извещением, что боцман тоже слышал выстрел. Все мы бросились на шканцы. Сначала мы не слышали ничего, но через несколько минут увидели яркий свет и заключили, что это должно быть, большой пожар. Мы вычислили положение корабля и единогласно решили, что в том направлении, где показался огонь (запад-северо-запад), земли быть не может даже на расстоянии пятисот миль. Было очевидно, что это горит корабль в открытом море. И так как мы перед тем слышали пушечные выстрелы, то заключили, что корабль этот должен быть недалеко, и направились прямо в ту сторону, где видели свет; по мере того, как мы подвигались вперед, светлое пятно становилось все больше и больше, хотя вследствие тумана мы не могли различить ничего, кроме этого пятна. Мы шли с попутным, хотя и не сильным, ветром, и приблизительно через полчаса, когда небо немного прояснилось, мы ясно увидели, что это горит большой корабль в открытом море.

Я был глубоко взволнован этим несчастьем, хотя совершенно не знал пострадавших. Я вспомнил, в каком положении находился я сам, когда меня спас португальский капитан, и подумал, что еще гораздо отчаяннее положение находившихся на этом корабле людей, если вблизи нет другого судна. Я сейчас же приказал сделать с короткими промежутками пять пушечных выстрелов, чтобы дать знать пострадавшим, что помощь близка и что они могут попытаться спастись на лодках. Ибо хотя мы и могли видеть пламя на корабле, но с горящего судна в ночной тьме нас нельзя было увидеть.

Мы удовольствовались тем, что в ожидании рассвета легли в дрейф, сообразуя наши движения с движениями горящего корабля. Вдруг, к великому нашему ужасу — хотя этого и следовало ожидать — раздался взрыв, и вслед за тем корабль немедленно погрузился в волны. Это было

ужасное и потрясающее зрелище. Я решил, что находившиеся на корабле люди или все погибли, или же бросились в лодки и носятся теперь по волнам океана. Во всяком случае, положение их было отчаянное. В темноте нельзя было ничего различить. Но для того, чтобы по возможности помочь потерпевшим найти нас и дать знать, что вблизи находится корабль, я велел везде, где только было можно, вывесить зажженные фонари и стрелять из пушек в продолжение всей ночи.

Около восьми часов утра с помощью подзорных труб мы увидели в море лодки. Их было две; обе переполнены людьми и глубоко сидели в воде. Мы заметили, что они, направляясь против ветра, идут на веслах к нашему кораблю и прилагают всяческие усилия, чтобы обратить на себя наше внимание. Мы сейчас же подняли кормовой флаг и стали давать сигналы, что мы их приглашаем на наш корабль, и, прибавив парусов, пошли им навстречу. Не прошло и получаса, как мы поровнялись с ними и приняли их к себе на борт. Их было шестьдесят четыре человека, мужчин, женщин и детей, ибо на корабле было много пассажиров.

Мы узнали, что это было французское торговое судно, вместимостью в триста тонн, направлявшееся во Францию из Квебека в Канаде. Капитан рассказал нам подробно о несчастий, постигшем его корабль. Загорелось около руля по неосторожности рулевого. Сбежавшиеся на его зов матросы, казалось совершенно потушили огонь, но скоро обнаружилось, что искры попали в столь мало доступную часть корабля, что бороться с огнем не было возможности. Вдоль досок и по обшивке пламя пробралось в трюм, и там уж никакие меры не могли остановить его распространения.

Тут уж не оставалось ничего иного, как спустить лодки. К счастью для находившихся на корабле, лодки были достаточно вместительны. У них был баркас, большой шлюп и сверх того маленький ялик, в который они сложили запасы свежей воды и провизии. Садясь в лодки на таком большом расстоянии от земли, они питали лишь слабую надежду на спасение; больше всего они надеялись на то, что им встретится какой либо корабль и возьмет их к себе на борт. У них были паруса, весла и компас, и они намеревались плыть к Ньюфаундленду. Ветер им благоприятствовал. Провизии и воды у них было столько, что, расходуя ее в количестве, необходимом для поддержания жизни, они могли просуществовать около двенадцати дней. А за этот срок, если бы не помешали бурная погода и противные ветры, капитан надеялся добраться до берегов Ньюфаундленда. Они надеялись также, что за это время им удастся, может быть, поймать некоторое количество рыбы. Но им угрожало при этом так много неблагоприятных случайностей, вроде бурь, которые могли бы опрокинуть

и потопить их лодки, дождей и холодов, от которых немеют и коченеют члены, противных ветров, которые могли продержат их в море так долго, что они все погибли бы от голода, что их спасение было бы почти чудом.

Капитан со слезами на глазах рассказывал мне, как во время их совещаний, когда все были близки к отчаянию и готовы потерять всякую надежду, они внезапно были поражены, услышав пушечный выстрел и вслед за первым еще четыре. Это было пять пушечных выстрелов, которые я велел произвести, когда мы увидели пламя. Выстрелы эти оживили надеждой их сердца и, как я и предполагал, дали им знать, что невдалеке от них находится корабль, идущий им на помощь.

Услышав выстрелы, они убрали мачты и паруса, так как звук слышался с наветренной стороны, и решили ждать до утра. Через некоторое время, не слыша больше выстрелов, они сами стали стрелять с большими промежутками из мушкетов и сделали три выстрела, но ветер относил звук в другую сторону, и мы их не слышали.

Тем приятнее были изумлены эти бедняки, когда, спустя некоторое время, они увидели наши огни и снова услышали пушечные выстрелы; как уже оказано, я велел стрелять в продолжение всей ночи. Это побудило их взяться за весла для того, чтобы скорее подойти к нам. И, наконец, к их неопишуемой радости, они убедились, что мы заметили их.

Невозможно описать разнообразные телодвижения и восторги, которыми спасенные выражали свою радость по случаю столь неожиданного избавления от опасности. Легко описать и скорбь и страх — вздохи, слезы, рыдания и однообразные движения головой и руками исчерпывают все их способы выражения; но чрезмерная радость, восторг, радостное изумление проявляются на тысячу ладов. У некоторых были слезы на глазах, другие рыдали и стонали с таким отчаянием в лице, как будто испытывали глубочайшую скорбь. Некоторые буйствовали и положительно казались помешанными. Иные бегали по кораблю, топя ногами или ломая руки. Некоторые танцевали, несколько человек пели, иные истерически хохотали, многие подавленно молчали, не будучи в состоянии произнести ни единого слова. Кое-кого рвало, несколько человек лежали в обмороке. Немногие крестились и благодарили господ.

Нужно отдать им справедливость — среди них были многие, проявившие потом истинную благодарность, но сначала чувство радости в них было так бурно, что они не были в состоянии совладать с ним — большинство впало в исступление и какое-то своеобразное безумие. И лишь очень немногие оставались спокойными и серьезными в своей радости.

Отчасти это, может быть, объяснялось тем, что они принадлежали к французской нации, отличающейся, по общему признанию, более изменчивым, страстным и живым темпераментом, так как жизненные духи у ней более подвижны, чем у других народов. Я не философ и не берусь определить причину этого явления, но до тех пор я не видал ничего подобного. Всего более приближалось к этим сценам то радостное исступление, в которое впал бедный Пятница, мой верный слуга, когда он нашел в лодке своего отца. Несколько напоминал их также восторг капитана и его спутников, которых я выручил, когда мерзавцы-матросы высадили их на берег; но ни то, ни другое и ничто, виденное мной доселе, нельзя было сравнить с тем, что происходило теперь.

Нужно заметить также, что этот дикий восторг проявлялся в различных формах не только у различных лиц. Иногда все его проявления можно было наблюдать в быстрой смене у одного и того же. Человек, который минуту тому назад упорно молчал и казался подавленным и утратившим способность соображать, вдруг начинал танцевать и кривляться как клоун. Еще минута — и он рвал на себе волосы или раздирал свое платье и топтал его ногами как сумасшедший. Немного спустя он начинал плакать, ему становилось дурно, он терял сознание и, если б его оставить без помощи, через несколько минут он наверное был бы уже трупом. И так было не с двумя, не с десятью или двадцатью, а с большинством, и, сколько помню, наш доктор был принужден пустить кровь, по крайней мере, тридцати спасенным.

В числе их было два священника, один старик, другой — молодой. И странное дело — как раз старик то и вел себя всего хуже. Едва вступил на палубу и почувствовав себя в безопасности, он упал, как подкошенный, без малейших признаков жизни. Наш врач сейчас же принял надлежащие меры, и один только из всех находившихся на корабле не считал его уже мертвым. Напоследок он открыл священнику жилу на руке, предварительно растерев руку докрасна и хорошенько разогрев ее. После этого кровь, сначала лишь медленно сочившаяся капля по капле, полилась сильнее. Минуты через три старик открыл глаза, а через четверть часа он уже заговорил, и ему стало легче. Вскоре он почувствовал себя совсем хорошо. Когда ему остановили кровь, он начал расхаживать по палубе, заявляя, что он чувствует себя превосходно, выпил глоток лекарства, данного ему врачом — словом, совершенно пришел в себя. Но через четверть часа его спутники прибежали в каюту врача, который делал кровопускание женщине, лишившейся чувств, и сообщили ему, что священник буйствует. Повидимому, только теперь он сознал перемену своего положения и

пришел в исступление. Жизненные духи помчались в его крови так быстро, что сосуды не могли выдержать. Кровь его разгорячилась, он впал в лихорадочное состояние, и казалось, что место его в Бедламе. Врач не решился вторично пустить кровь в таком состоянии и дал ему принять что-то успокоительное и усыпляющее.

Через некоторое время лекарство оказало свое действие, а на следующее утро он проснулся совершенно здоровым и разумным.

Молодой священник напротив того проявил большое самообладание и действительно служил примером того, как должен вести себя человек, сохраняющий нравственное достоинство. Вступив на корабль, он упал ниц и, распростершись, благодарил господу за свое избавление. Полагая, что он в обмороке, я, к сожалению, — некстати подошел и помешал ему молиться. Но он спокойно поблагодарил меня, сказал, что он благодарит бога за свое спасение, попросил меня оставить его на несколько минут одного и прибавил, что, воздав благодарность создателю, он сочтет долгом поблагодарить и меня.

Я от души пожалел, что помешал ему, и не только отошел от него, но и оказал другим, чтобы они его не тревожили. Он пролежал, распростертый ниц, после моего ухода минуты три или, может быть, несколько дольше, затем подошел ко мне и серьезно и прочувствованно со слезами на глазах стал благодарить меня за то, что я с божиею помощью спас жизнь ему и другим несчастным. Я отвечал, что не могу посоветовать ему поблагодарить за свое спасение прежде всего бога, так как видел, что он уже исполнил это; что же касается меня, то я сделал только то, что предписывала разум и гуманность, и что у нас столько же причин, как и у него, благодарите бога, которому угодно было сделать нас орудием своего милосердия.

После этого молодой священник пошел к своим землякам; он старался успокоить их, урезонивал, беседовал с ними и делал все, чтобы удержать в границах рассудка. По отношению к некоторым это ему удалось, но другие на время совершенно утратили самообладание.

Я не могу не рассказать об этом, ибо это, может быть, будет полезно для тех, в чьи руки попадет моя книга, научит их управлять бурными проявлениями своих страстей. Ведь если чрезмерная радость может настолько лишить человека рассудка, то к чему же должны привести бурные вспышки гнева, злобы и раздражения? В этот момент я понял, что действительно необходимо сдерживать всякие страсти, — как радость и удовольствие, так и скорбь и раздражение.

Эти чрезмерно бурные выражения чувств наших гостей в течение

первого дня были нам несколько неприятны. На ночь они удалились в отведенные им помещения, и на другой день, когда большинство их выпалось хорошенько под влиянием волнений и усталости, они казались совершенно другими людьми.

Они не обнаружили недостатка ни в хороших манерах, ни в умении выразить свою признательность за оказанную им услугу. У французов, как известно, такие таланты — врожденные. Капитан их пришел ко мне с одним из священников и выразил желание переговорить со мной и моим племянником, капитаном, чтобы выяснить, что теперь делать. Они сказали нам, что так как мы спасли им жизнь, то если они даже отдадут нам все, что у них есть, и того будет слишком мало. Капитан заявил, что им удалось спасти от пламени и взять с собой в лодки некоторую сумму денег и кой какие ценные вещи и что если мы пожелаем, то они готовы предложить нам все это. Они желали бы только, чтобы мы высадили их по дороге где-нибудь в таком месте, откуда можно было бы добраться до Франции.

Мой племянник был не прочь сначала взять с них деньги и затем уже подумать, как поступить с потерпевшими, но я был иного мнения: я знал, что значит высадиться на берег в чужой стороне, и если б португальский капитан, который подобрал меня в море, поступил со мной так же и взял с меня за спасение все, что у меня было, мне пришлось бы умереть с голоду или сделаться в Бразилии таким же невольником, каким я был в Берберии — с тою только разницей, что я не был бы продан магометанину. Но португалец, как господин, нисколько не лучше турка, а иной раз бывает и хуже.

Поэтому я сказал французскому капитану, что если мы выручили их из беды, то ведь поступить так было нашей обязанностью; мы такие же люди и желали бы себе того же, если бы очутились в такой же или иной крайности. Следовательно, мы сделали только то, чего ожидали от них, если б мы оказались в их положении, а они в нашем. Мы выручили их из опасности для того, чтобы оказать им услугу, а не для того, чтобы ограбить их. По моему мнению, было бы крайне жестоко взять от них то небольшое, что им удалось спасти от огня, а затем высадить их и оставить на берегу. Это значило бы сначала спасти их, а потом самим же их погубить, спасти от потопления и обречь на голодную смерть. Поэтому я не хотел брать от них ничего. Что касается высадки их на берег, то я сказал им, что это очень затруднительно для нас, так как наше судно идет в Ост-Индию. И хотя мы значительно отклонились к западу от нашего курса — возможно, что провидение направило нас сюда именно для их спасения, — мы все-таки не можем изменить ради них наш маршрут. Мой племянник, капитан корабля,

не может взять на себя ответственность за такое отклонение от пути перед лицами, у которых корабль был зафрахтован с письменным обязательством плыть через Бразилию, и все, что я могу обещать — это избрать такое направление, при котором есть шансы встретиться с судами, идущими из Вест-Индии, которые могли бы доставить их в Англию или Францию.

Первая половина предложения была столь великодушна и любезна, что им оставалось только поблагодарить меня. Но они были очень опечалены — особенно пассажиры — тем, что им придется ехать в Ост-Индию. Они высказали мнение, что раз мы уже отклонились так далеко на запад, до встречи с ними, то я мог бы, по крайней мере, итти тем же курсом к берегам Ньюфаундлэнда, где нам может встретиться какой либо корабль или шлюпка, которые согласятся свезти их обратно в Канаду, откуда они выехали.

Мне казалось, что это вполне законное желание с их стороны, и поэтому я расположен был согласиться. Я и сам думал, что везти всех этих бедняков в Ост-Индию не только было бы непозволительной жестокостью, но и разбило бы весь план нашего путешествия, так как они уничтожили бы всю нашу провизию. Поэтому я думал, что за подобное отступление от намеченного курса, безусловно вынужденное непредвиденными обстоятельствами, нас никто не осудит и что его ни в каком случае нельзя считать нарушением договора. Ибо ни законы божеские, ни законы природы не позволяли нам отказаться принять к себе на борт людей с двух лодок, очутившихся в таком отчаянном положении, И мы не могли уклониться от обязанности высадить бедняков где либо на берег. Поэтому я согласился отверти их в Ньюфаундлэнд, если ветер и погода позволят это, а если нет, препроводить их на Мартинику в Вест-Индии.

С востока продолжал дуть свежий ветер, но погода стояла хорошая. И так как направление ветра долго не менялось, мы упустили несколько случаев отправить потерпевших крушение во Францию. Мы встретили несколько судов, шедших в Европу, в том числе два французских. Но они так долго боролись с противным ветром, что не могли взять пассажиров из опасения, что им не хватит провизии ни для них самих, ни для пассажиров. Поэтому мы должны были везти наших пассажиров все дальше и дальше. Приблизительно через неделю мы подошли к отмелям Ньюфаундлэнда, где высадили французов на барку, которую они подрядили доставить их на берег, а затем отвезти их во Францию, если им удастся запастись провизией. Когда французы стали высаживаться, молодой священник, о котором я говорил, услышав, что мы едем в Ост-Индию, попросил нас взять его с собой и высадить на берегу Короманделя. Я согласился, так как

чрезвычайно полюбил этого человека и, как видно будет впоследствии, не ошибся в нем. Сверх того, на нашем корабле осталось четверо французских матросов, оказавшихся весьма дельными малыми.

Отсюда мы взяли курс на Вест-Индию. Около двадцати дней уже плыли мы к югу и юго-востоку, иногда с слабым попутным ветром, иногда же и совсем без ветра, когда нам снова представился случай оказать помощь людям, находившимся почти в столь же печальном положении, как и пассажиры сгоревшего французского корабля.

19-го марта 1694 г. на двадцать седьмом градусе и пятой минуте северной широты, держа курс на юго-юго-восток, мы заметили парус. Скоро мы разглядели, что это большое судно и что оно направляется к нам. Сначала мы не могли сообразить, что ему нужно, но, когда оно подошло ближе, мы увидели, что оно потеряло грот-мачту, фок-мачту и бушприт. В знак того, что оно находится в бедственном положении, оно сделало пушечный выстрел. Погода была хорошая, ветер дул с северо-северо-запада, и скоро нам удалось вступить в переговоры.

Оказалось, что это английский корабль из Бристоля, возвращавшийся домой с острова Барбадоса. За несколько дней до отплытия, когда он был даже еще не совсем готов поднять паруса, страшная буря сорвала его с якорей в то время, как капитан и боцман были на берегу, так что, помимо ужаса бури, команда была лишена опытных моряков, способных довести корабль домой. Они находились в море уже девять недель; после первого урагана им пришлось выдержать еще другую бурю, которая, насколько они могли судить, отнесла их к западу и во время которой они потеряла три мачты. Они рассчитывали пристать к Багамским островам, но затем снова были отнесены к юго-востоку сильным северо-западным ветром, который дул и теперь, и, не имея парусов, при помощи которых можно управлять кораблем (у них оставался только нижний парус на грот-мачте и четырехугольный парус на поставленной ими запасной фок-мачте), они не могли идти против ветра и старались только попасть к Канарским островам.

Но всего хуже было то, что они чуть не умирали с голоду вследствие недостатка в провизии. Хлеб и мясо совершенно вышли у них уже одиннадцать дней тому назад. Они поддерживали свое существование исключительно благодаря тому, что у них оставалась еще вода и было с полбочки муки. Сверх того у них было много сахара. Сначала у них были также сладкие печенья, но они были съедены. Кроме того, у них было семь бочек рому.

На корабле была женщина с сыном и служанкой. Они хотели ехать в

качестве пассажиров и, думая, что корабль готов к отплытию, прибыли на него как раз накануне урагана. Своей провизии у них не было, и они очутились в еще более печальном положении, чем остальные. Ибо экипаж, доведенный до такой крайности, не проявлял, конечно, никакого сочувствия к бедным пассажирам; ужас их состояния тяжело даже описывать.

Я бы, пожалуй, и не узнал об этом, если бы не моя любознательность; воспользовавшись хорошей погодой и тем, что ветер прекратился, я отправился сам на корабль. Младший помощник капитана, командовавший судном, явился к нам и сообщил, что в большой каюте у них есть три пассажира, положение которых должно быть весьма печально. «Я думаю даже, — сказал он, — что они умерли; последние два дня их совсем не слышно, а мне было страшно пойти узнавать о них, так как все равно нечем было помочь им».

Мы тотчас же решили уделить им, сколько могли, из наших припасов. Мы с племянником уже настолько изменили наш курс, что не отказались бы снабдить их жизненными припасами даже и в том случае, если бы нам самим пришлось для пополнения их пристать к Виргинии или какой либо иной части американского берега. Но в этом не было необходимости.

Теперь изголодавшимся скитальцам угрожала новая опасность; они боялись, что даже того небольшого количества, которое мы дали им, окажется для них слишком много. Помощник капитана, принявший на себя командование судном, привез с собою в лодке шесть человек, но эти несчастные были похожи на скелеты и так ослабели, что едва могли держать весла. Сам помощник выглядел очень плохо и еле держался на ногах. По его словам он всем делился поровну с своей командой и ел ни чуточки не больше, чем другие.

Я посоветовал ему есть умеренно, но дал ему мяса. Не сделав и трех глотков, он почувствовал себя дурно. Поэтому ему пришлось приостановиться. Наш врач взял бульону и прибавил туда еще чего то и сказал, что это будет служить и пищей и лекарством. И действительно, когда боцман съел это, ему стало лучше. Тем временем я не забыл и матросов и велел дать им поесть. Бедняги скорее пожирали, чем ели пищу. Они были так страшно голодны, что совершенно не могли владеть собой. Двое из них накинулись на еду с такой жадностью, что на следующее утро чуть не заплатились за это жизнью.

Вид этих бедняков очень растрогал меня и напомнил о том ужасном положении, в котором я сам очутился, попав на остров, где у меня не было ни пищи, ни надежды добыть ее, не говоря уже о том, что я ежеминутно

боялся, как бы мне самому не быть съеденным дикими зверями. Но в то время, когда помощник рассказывал мне об ужасном положении корабельной команды, у меня не выходило из головы его сообщение о трех пассажирах в большой каюте — матери с сыном и служанке, о которых он не имел никаких сведений уже два или три дня и которых они, по его собственному признанию, бросили на произвол судьбы, когда сами дошли до крайности. Я понял его в том смысле, что этим пассажирам совершенно перестали давать пищу и что все они должно быть лежат теперь мертвые на полу каюты.

Накормив помощника, которого мы называли капитаном, я не забыл и голодающих матросов, оставшихся на судне; я приказал моему помощнику сесть на мою собственную лодку, взяв с собой двенадцать человек, и отвезти им мешок с хлебом и четыре или пять кусков мяса для варки. Наш врач предписал сварить мясо по прибытии на судно и присмотреть на кухне за тем, чтобы его не съели сырым или не вытащили из котла, пока оно будет вариться, а затем раздать его небольшими кусочками и не сразу. Его предусмотрительность спасла людей, которых иначе могла бы убить пища, данная им для спасения их жизни.

В то же время я приказал своему помощнику войти в большую каюту и удостовериться, в каком состоянии находятся бедные пассажиры, и, если они еще живы, позаботиться о них и дать им что нужно для подкрепления сил. А врач дал ему большой кувшин с бульоном, приготовленный так же, как это было сделано для помощника капитана, явившегося к нам на корабль, не сомневаясь, что это должно восстановить силы ослабевших.

Я не удовольствовался этим. Мне хотелось самолично увидеть картину бедствия; я знал, что на корабле она предстанет, в более ярких чертах, чем в пересказе. Я взял с собой капитана, как мы его называли, и отправился в его лодке на корабль.

Мы застали на корабле страшную сумятицу, чуть не бунт. Команда порывалась достать мясо из котла, прежде чем оно было готово. Но мой помощник приставил сильную стражу у кухонных дверей, и люди, поставленные им, истощив все убеждения, удерживали непослушных силой. Тем временем, он велел бросить в котел сухарей и, когда они размякли в мясном бульоне, стал раздавать их по одному, чтобы уменьшить муку ожидания, заявляя, что, ради их же собственной пользы, он обязан давать им лишь понемногу зараз. Но все это было напрасно. И если бы я сам не явился на корабль в сопровождении их капитана и офицеров и если бы не успокоил их ласковыми словами и угрозами, я думаю; они вломилась бы в кухню силой и вытащили бы мясо из печки, ибо слова плохо

действуют на голодный желудок. Как бы то ни было, мы умиротворили их и начали кормить их понемногу и осторожно, а затем уже дали им больше. И дело обошлось благополучно.

Страдания бедных пассажиров в каюте были иного рода и оставляли далеко за собой все виденное нами на палубе. Экипаж, имея с собой весьма небольшой запас провизии, и вначале мало уделял пассажирам, а под конец совсем перестал заботиться о них, так что в течение последних шести-семи дней они оставались совершенно без пищи, да и перед тем питались очень плохо. Бедная мать, по словам матросов женщина очень рассудительная и из хорошей семьи, самоотверженно отдала все, что было возможно, сыну и под конец совершенно изнемогла. Когда в каюту вошел помощник, она сидела согнувшись на полу между двумя крепко связанными стульями. Ее голова беспомощно свешивалась вниз, как у трупа, хотя она была еще жива. Мой помощник пытался оживить и ободрить ее и при помощи ложки влил ей в рот немного бульона. Она раскрыла рот и пошевелила рукой, но не могла говорить, однако понимала все, что он говорил, и старалась объяснить ему знаками, что ей помочь уже нельзя, указывая в то же время на сына и как бы прося позаботиться о нем.

Помощник, очень растроганный этим зрелищем, постарался все таки влить ей в рот две три ложки бульона, хотя я сомневаюсь, чтобы это ему действительно удалось. Но было уже поздно, и она умерла в ту же ночь.

Сын, спасенный ценою жизни любящей матери, был в несколько лучшем состоянии. Тем не менее он лежал, вытянувшись на койке, едва подавая признаки жизни. Во рту у него был кусок старой перчатки, значительную часть которой он изжевал и съел. Только молодость и здоровье спасли его. Моему помощнику удалось заставить его проглотить несколько ложек бульона, и тогда он понемногу стал оживать. Но когда, спустя некоторое время, ему дали еще три ложки, он почувствовал себя очень худо, и его вырвало.

Затем пришлось позаботиться и о бедной служанке. Она лежала на полу рядом с своей госпожой, как будто пораженная апоплексическим ударом: ее члены были сведены судорогой, одной рукой она судорожно ухватилась за ножку стула и так крепко сжимала его в своей руке, что нам с трудом удалось разжать ее. Другая рука лежала у нее на голове, а ногами она упиралась в ножку стола. Словом, она имела вид умирающей в последней агонии, а между тем и она была еще жива.

Бедняжка не только умирала с голода и была угнетена мыслью о смерти, но как рассказали мне потом матросы, кроме того еще исстрадалась за свою госпожу, которая в течение двух или трех дней медленно умирала

на ее глазах и которую она нежно любила.

Мы не знали, что делать с бедной девушкой. Когда наш врач, очень знающий и опытный человек, вернул ее к жизни, ему пришлось еще позаботиться о восстановлении ее рассудка, ибо в течение долгого времени она была почти как помешанная.

Читатель этих записок должен принять во внимание, что посещение другого корабля в море не похоже на поездку в деревню, где иной раз люди гостят на одном месте по неделе и по две. Наше дело было помочь потерпевшим, а не проводить с ними время. И хотя они согласны были взять тот же курс, как и мы, мы, однако, не могли идти вместе с кораблем, у которого не было мачт. Но так как их капитан просил нас помочь ему установить грот-мачту, то мы оставались вместе три или четыре дня и дали ему пять бочек говядины, бочку свинины, два мешка сухарей и соответствующее количество гороха, муки и других припасов, которыми мы могли поделиться, и взяли в обмен три бочки сахара, некоторое количество рома и несколько золотых монет. После этого мы оставили их, взяв к себе, по настоятельной их просьбе, юношу и служанку со всем их багажом.

Юноше было около семнадцати лет; это был красивый, воспитанный, скромный и умный мальчик. Он был глубоко потрясен смертью матери и, кажется, всего за несколько месяцев перед тем потерял отца на Барбадосе. Он просил врача уговорить меня взять его с корабля, на котором он был, так как жестокосердие команды убило его мать. И, действительно, эти люди были пассивными убийцами ее, ибо они могли уделить беспомощной вдове небольшое количество имевшихся у них съестных припасов, достаточное для поддержания ее жизни. Но голод не признает ни дружбы, ни родства, ни справедливости, ни права, и потому недоступен угрызениям совести, и неспособен к состраданию.

Врач сказал ему, куда мы идем, и разъяснил, что, если он поедет с нами, мы завезем его далеко от друзей, и он может очутиться в положении, несколько не лучшем того, в котором мы нашли его, т.е. будет умирать с голоду. Он ответил, что ему все равно, куда ни ехать, лишь бы избавиться от ужасных людей, среди которых он находится, что капитан (он подразумевал меня, так как не знал о существовании моего племянника) спас ему жизнь и, наверное, не причинит ему зла. Что до служанки, то он был уверен, что, когда к ней вернется рассудок, она будет очень благодарна за избавление, куда бы мы ни повезли ее. Врач передал мне обо всем этом с таким сочувствием к мальчику, что я согласился взять обоих к себе на корабль со всем их имуществом, за исключением одиннадцати бочек

сахару, которых нельзя было перегрузить. А так как юноша имел грузовые квитанции на них, то я заставил капитана подписать письменное обязательство в том, что он, по приезде в Бристоль, отправится к некоему мистеру Роджерсу, тамошнему купцу, с которым юноша был в родстве, и передаст ему от меня письмо и все имущество, принадлежавшее бедной вдове. Но я не думаю, чтобы это было выполнено, потому что о прибытии корабля в Бристоль я не мог получить никаких сведений. По всей вероятности, он погиб в океане, так как находился в таком плачевном состоянии и был так далеко от земли, что первая же буря должна была, по моему мнению, потопить его; еще до нашей встречи он дал течь и имел большие повреждения в подводной части.

Мы находились теперь на девятнадцатом с тридцатью двумя минутами градусе северной широты. До сих пор наше путешествие, в смысле погоды, было сносным, хотя вначале ветер не благоприятствовал нам. Не стану утомлять читателя перечислением мелких перемен ветра, погоды, течения и проч. в остальное время нашего пути и, сокращая свой рассказ в интересах дальнейшего, скажу только, что я вернулся на свое старое пепелище — на остров — 10-го апреля 1695 года. Не малого труда стоило мне найти его. В первый раз я подъехал к нему с юго-восточной стороны, — так как плыл из Бразилии, — и теперь, очутившись между островом и материком и не имея ни карты берега под рукой, ни каких либо вех на берегу, могущих служить указанием, я не узнал его, когда увидел, во всяком случае, не был уверен, он ли это.

Мы долго бродили вокруг да около и высаживались на нескольких островах в устье большой реки Ориноко, но эти острова не имели ничего общего с моим. Единственная выгода от этого была та, что я был выведен из большого заблуждения, а именно, что земля, виденная мною с острова, материк; на самом же деле это был не материк, а длинный остров или, вернее, ряд островов, тянувшихся от одного до другого конца широкого устья Ориноко. А следовательно, и дикари, приезжавшие на мой остров, были собственно не караибы, но островитяне, обитавшие несколько ближе к нам, чем остальные.

Короче говоря, я посетил бесплодно несколько островов; некоторые из них были обитаемы, другие безлюдны. На одном из них я встретил несколько испанцев и думал, что они живут здесь, но, поговорив с ними, узнал, что у них неподалеку стоит шлюп и они приехали сюда за солью и для ловли жемчуга с острова Тринидат, лежащего дальше к северу, под одиннадцатым градусом широты.

Таким образом, приставая то к одному острову, то к другому, то на

корабле, то на французском шалупе (мы нашли его очень удобным и оставили у себя, с согласия французов), я, наконец, попал на южный берег моего острова и тотчас же узнал местность по виду. Тогда я поставил наше судно на якорь против бухточки, невдалеке от которой находилось мое прежнее жилище.

Увидав его, я тотчас позвал Пятницу и опросил его, узнает ли он, где мы находимся. Он осмотрелся вокруг и захлопал в ладоши, крича: «О, да! здесь! О, да! здесь!» и указывал рукой на наш старый дом. Он плясал и скакал от радости, как безумный, и чуть было не бросился в воду, чтобы плыть к берегу; я едва удержал его.

«Ну что. Пятница, как ты думаешь, найдем мы здесь кого-нибудь? Увидим мы твоего отца? Как тебе кажется?» Пятница долго молчал, словно у него отнялся язык, но, когда я упомянул об его отце, лицо бедняка выразило уныние, и я видел, как обильные слезы покатались по его лицу. «В чем дело Пятница?» — спросил я. «Разве тебя огорчает мысль, что ты, может быть, увидишь своего отца?» «Нет, нет», сказал он, качая головой. «Мой не видать его больше; никогда больше не видать!» «Почему так, Пятница; откуда ты это знаешь?» «О нет! О нет! Он давно умрет, давно умрет; он очень старый человек». «Полно, полно, Пятница, этого ты не можешь знать! Ну, а как ты думаешь, других мы увидим?» У Пятницы, должно быть, глаза были лучше моих, потому что он сейчас же указал рукой на холм, высившийся над моим старым домом, хотя мы были от него в полумиле, и закричал: «Мой видит! Мой видит! Да, да! Мой видит много человек там — и там!» Я стал смотреть, но никого не мог разглядеть, даже и в подзорную трубу — вероятно, потому, что направлял ее не туда, куда следовало; но Пятница был прав, как я узнал на следующий день: на вершине холма действительно стояли человек пять или шесть и смотрели на корабль, не зная, чей он и чего от нас ждать.

Как только Пятница сказал мне, что он видит людей на берегу, я велел поднять на корме английский флаг и сделать три выстрела в знак того, что мы друзья. Четверть часа спустя над краем бухты взвился дымок; тогда я немедленно велел спустить лодку, взял с собой Пятницу и, подняв белый флаг мира, направился прямо к берегу. Кроме того, я взял с собой еще молодого священника; я ему рассказал всю историю моей жизни на острове и вообще все о себе и о тех, кого я оставил там, и ему страшно хотелось поехать со мной. С нами были еще шестнадцать человек, хорошо вооруженных на случай, если бы мы нашли на острове новых и незнакомых людей, — но оружия пускать в ход не пришлось.

Пользуясь приливом, почти достигшим наибольшей высоты, мы

подъехали близко к берегу а оттуда на веслах вошли в бухту. Первый, кого я увидал на берегу, был испанец, которому я спас жизнь; я сейчас же узнал его; лицом он нисколько не изменялся, а одежду его я опишу после. Сначала я не хотел никого брать с собой на берег, но Пятницу невозможно было удержать в лодке, его любящее сердце еще издали узнало отца, так далеко отставшего от испанцев, что я совсем и не видел его; если бы я не взял с собою моего бедного слугу, он бы прыгнул в воду и поплыл. Не успел он ступить на берег, как стрелою понесся навстречу отцу. И самый твердый человек не удержался бы от слез, видя бурную радость этого бедняка при встрече с отцом — видя, как он его обнимал, целовал, гладил по лицу, потом взял на руки, посадил на дерево и сам лег возле него; потом встал и с четверть часа смотрел на него, словно на какую нибудь картину, видимую им впервые; потом опять лег на землю и гладил ноги отца и целовал их, и опять встал и смотрел на него: можно было подумать, что его околдовали. Невозможно было удержаться от смеха на другой день утром, когда он выражал свою радость уже иначе — несколько часов подряд ходил по берегу взад и вперед вместе с отцом, водя его под руку, словно женщину, и поминутно бегал на лодку, чтобы принести что-нибудь отцу — то кусок сахару, то рюмку водки, то сухарь. — то то, то другое, а уж что-нибудь да притащит. Потом он стал безумствовать на новый лад — посадил старика на землю и принялся танцевать вокруг него, все время жестикулируя и принимая самые разнообразные позы; и все время при этом не переставал говорить, развлекая отца рассказами о своих путешествиях и о том, что с ним было во время пути. Если бы христиане в наших странах питали такую же сыновнюю привязанность к своим родителям, пожалуй, можно было бы обойтись и без пятой заповеди.

Но это отступление; вернусь к рассказу о нашей высадке. Бесполезно описывать все церемонии, с какими встретили меня испанцы, и все их расшаркивания передо мною. Первый испанец, — как я уже говорил, хорошо мне знакомый, потому что я ему когда то спас жизнь, — подошел к самой лодке в сопровождении другого и тоже с белым флагом в руке; но он не только не узнал меня с первого взгляда, — ему даже в голову не пришло, что это я вернулся, пока я не заговорил с ним. «Сеньор», сказал я по португальски, «вы не узнаете меня?» На это он не сказал ни слова, но, отдав свой мушкет товарищу, пришедшему вместе с ним, широко раскрыл объятия и, сказав что-то по испански, чего я не расслышал как следует, обнял меня, говоря, что он не может простить себе, как он не узнал сразу лица, некогда посланного как ангел с неба спасти ему жизнь. Он наговорил еще много красивых слов, как это умеют делать все хорошо воспитанные

испанцы, затем, подзвав к себе своего спутника, велел ему пойти и позвать товарищей. Потом он спросил, угодно ли мне пройти на свое старое пепелище и снова вступить во владение моим домом и кстати посмотреть, какие там сделаны улучшения, — впрочем, немногие. И я пошел за ним, — но увы! — не мог найти места, где стоял мой дом, как будто никогда и не бывал здесь: здесь насадили столько деревьев и так густо, и за десять лет они так разрослись, что к дому можно было пробраться только извилистыми, глухими тропинками, известными лишь тем, кто прокладывал их.

Я спросил, чего ради им было превращать дом в какую-то крепость. Он ответил, что, узнав, как им жилось после прибытия на остров, в особенности, после того, как они имели несчастье убедиться, что я покинул их, — я по всей вероятности, и сам соглашусь, что это было необходимо. Он говорил, что не мог не порадоваться моему счастью, узнав, что мне удалось уехать, притом на хорошем судне и согласно моему желанию, и что он нередко потом имел ясное предчувствие, что рано или поздно увидит меня снова; но никогда в жизни он не был так удивлен и огорчен, как в тот момент, когда вернувшись на остров, он уже не нашел там меня.

Что касается трех варваров (как он называл их), оставшихся на острове — о них он обещал мне потом рассказать целую историю и говорил, что даже с дикарями испанцам жилось легче — хорошо еще, что их было так мало. «Будь они сильнее нас, все мы давно уже были бы в чистилище». И при этом он перекрестился. «Я надеюсь, сэр, что вам не будет неприятно, когда я расскажу вам как мы, в силу необходимости, ради спасения собственной жизни, вынуждены были обезоружить и обратить в подчиненное состояние этих людей, которые, не довольствуясь тем, что они были нашими господами, хотели сделаться еще и нашими убийцами». Я ответил, что я сам этого очень боялся, покидая их здесь, и ничто так не огорчало меня при расставании с островом, как то, что они (испанцы) не вернулись во-время и я не мог, так сказать, ввести их во владение, а английских матросов подчинить им, как они того заслуживали; а если они сами их подчиняли, я могу этому только радоваться и уж, конечно, не осужу их, так как знаю, что это за дрянные люди, своевольные, упрямые, способные на всякую пакость.

Пока я говорил это, посланный вернулся, и с ним еще одиннадцать человек. По бедственному их виду невозможно было определить, какой они национальности, но мой испанец скоро выяснил положение и для них и для меня. Первым делом он повернулся ко мне и, указывая на них, сказал: «Это, сэр, некоторые из сеньоров, обязанных вам жизнью»; затем повернулся к

ним я, указав на меня, объяснил им, кто я такой. После этого они все стали подходить ко мне по одиночке с такими церемониями, как будто они были не простые матросы, а знатные дворяне или послы, — а я не такой же человек, как они, а монарх или великий завоеватель; они были в высшей степени учтивы и любезны со мной, но в их предупредительности была примесь собственного достоинства и величавой серьезности, которая была им очень к лицу; короче говоря, их манеры были настолько изысканнее моих, что я прямо не знал, как принять их любезности, и тем более, как ответить на них.

История их прибытия на остров и хозяйничанья на нем после моего отъезда так любопытна, и в ней столько происшествий, которые будут гораздо понятнее тем, кто уже читал первую часть моего рассказа, и столько подробностей, имеющих отношение к моему собственному описанию моей жизни на острове, что я могу только с великим удовольствием рекомендовать то и другое вниманию тех, кто придет после меня.

Я не стану больше утруждать читателя, ведя рассказ в первом лице и по десять тысяч раз повторяя: «я говорю» и «он говорит», или «он мне сказал» и «я ему сказал» и т. под., но постараюсь изложить факты исторически, как они сложились в моей памяти из рассказов испанцев и моих собственных наблюдений.

Чтобы сделать это по возможности сжато и вразумительно, я должен вернуться назад и напомнить при каких обстоятельствах я покинул свой остров, и что в это время делали те, о ком я говорю. Прежде всего необходимо повторить, что я сам же отправил спасенных мною из рук дикарей испанца и отца Пятницы на материк — как я тогда думал — за товарищами испанца, чтобы избавить их от возможности такой же страшной смерти, какая угрожала ему, помочь им в настоящем и подумать вместе о будущем — не найдется ли какого-нибудь способа освобождения.

Посылая их туда, я не имел ни малейшего основания надеяться на собственное мое освобождение — или, по крайней мере, не более основания, чем во все эти двадцать лет; и уже подавно не мог предвидеть, что случится, т.е. что к берегу подойдет английский корабль и заберет меня с собой. И, конечно, для испанцев было большим сюрпризом не только убедиться в том, что я уехал, но и найти на берегу троих незнакомых людей, завладевших всем оставленным мною имуществом, которое иначе досталось бы им.

Чтобы начать как раз с того, на чем я остановился, я первым делом расспросил испанца о всех подробностях его поездки за земляками и

возвращения на остров. Он возразил, что тут собственно не о чем и рассказывать, что ничего особенного с ними в дороге не случилось, что погода все время была тихая и море спокойно, что земляки его, само собой, страшно обрадовались, увидев его (он, повидимому, был у них за старшего, так как капитан судна, на котором они потерпели крушение, незадолго перед тем умер). Они тем более удивились и обрадовались при виде его, что знали, как он попался в руки дикарей, и были уверены, что его съедят, как уже съели всех других пленников; а когда он рассказал им историю своего избавления и объяснил, что он приехал за ними, они, по его словам, были поражены, пожалуй, не меньше, чем братья Иосифа; когда тот открылся им и рассказал, в какой он чести при дворе фараона. Только когда он показал им свое оружие, порох, пули и провизию, припасенную для них на время обратного пути, они пришли в себя и, излив свою радость по поводу такого неожиданного освобождения, стали собираться в дорогу.

Первым делом нужно было раздобыть лодок, и тут уж пришлось махнуть рукой на честность и хитростью выманить у дружественных дикарей пару больших челноков, или пирог, под предлогом съездить на рыбную ловлю или просто кататься.

На этих пирогах они выехали на следующее же утро, так как сборы у них были недолгие: у них не было никаких вещей — ни платья, ни провизии, ничего, кроме того, что было на них, да небольшого запаса корней, из которых они делали себе хлеб.

Всего они пробыли в отсутствии три неделя. За это время, на беду им, мне представился случай бежать, как я уже говорил в своем месте, и я покинул остров, оставив на нем трех отъявленнейших негодяев, с какими только может встретиться человек, — своевольных, наглых, неприятных во всех отношениях, — что, конечно, было большим горем и разочарованием для бедных испанцев.

В одном только эти негодяи поступили честно — по прибытии испанцев на остров дали им мое письмо и снабдили их провизией и всем необходимым — словом, сделали так, как я приказал им; а также вручили им длинный описок оставленных мною наставлений — как печь хлеб, как ходить за ручными козами, сеять и собирать хлеб — как ухаживать за виноградом, обжигать горшки и т.д. — словом, делать все, из чего складывалась моя жизнь на острове и чему я сам выучился постепенно. Все это я подробно описал и велел отдать испанцам — двое из них недурно знали по английски; оставленные на берегу матросы исполнили мой приказ и вообще ни в чем не отказывали испанцам, так как сначала те и другие хорошо ладили между собою. Они пустили испанцев в дом, или пещеру, и

стали жить все вместе; старший испанец, успевший присмотреться к тому, как я работаю и хозяйничаю, вместе с отцом Пятницы заведывал всеми делами; англичане же ничего не делали, только шныряли по острову, стреляли попугаев да ловили черепах, а когда возвращались домой на ночь, находили ужин, приготовленный им испанцами.

Испанцы и этим бы удовольствовались, если бы те не трогали их и не мешали им работать, но у негодяев и на это не надолго хватило терпения, и они стали вести себя, как собака на сене — сама не ест и другим не дает. Вначале недоразумения были пустяшные, так что о них не стоит и говорить, но в конце концов англичане объявили испанцам открытую войну, с невероятной дерзостью и наглостью, ни с того, ни с сего, без всякой причины и вызова с их стороны, наперекор природе и даже здравому смыслу, и хотя первые рассказали об этом испанцы, т.е. пострадавшая и обвиняющая сторона, но когда я допросил самих англичан, они не могли опровергнуть ни единого слова.

Но прежде, чем перейти к подробностям, я должен заполнить один пробел в моем прежнем рассказе; я забыл сказать, что как раз в ту минуту, как мы подымали якорь, чтобы пуститься в путь, на борту нашего судна вспыхнула ссора. вспыхнула она из-за пустяков, но я опасался, как бы она не повела к новому возмущению; и, действительно, она прекратилась только тогда, когда капитан, собравшись с духом и призвав нас на помощь, собственноручно рознял дерущихся и двух главных зачинщиков велел заковать в кандалы. А так как они и во время первого бунта играли видную роль, да и теперь не скупилась на угрозы, он пригрозил так в кандалах и довести их до Англии, а там повесить за бунт и попытку дезертировать с кораблем.

Эта угроза, повидимому, напугала всю команду, хотя капитан не имел этого в виду; некоторые из матросов вбили в голову остальным, что капитан только теперь улещает их ласковыми словами, а как только они зайдут в один из английских портов, он посадит их всех в тюрьму и отдаст под суд.

Об этом проведал помощник капитана и сообщил нам, и тогда все стали просить меня, все еще слывшего у них важным лицом, сойти вниз вместе с помощником капитана и успокоить людей, уверив их, что, если они будут хорошо вести себя в остальное время пути, то все сделанное ими раньше будет прощено и забыто. Я пошел, и, когда поручился им честным словом в том, что все будет так, как я говорю, они успокоились и еще больше успокоились, когда, по моей просьбе, двое наказанных матросов были прощены и цепи с них сняты.

Но, благодаря этой истории, нам пришлось ночь простоять на якоре; к тому же ветер утих. На другое же утро оказалось, что двое прощенных забияк, украв каждый по мушкету и ножу, — сколько у них было патронов и пороху, мы сообразить не могли, — захватили капитанский катер, благо его еще не успели подвесить на место, и сбежали на нем к своим товарищам по мятежу на берег.

Как только мы заметили это, я велел послать на берег баркас с двенадцатью матросами и помощником капитана на поиски бунтовщиков; но посланные не нашли не только их, но и первых трех забияк, высаженных на берег; завидев подъезжающую лодку, они все бежали в леса. Помощник капитана хотел было, в наказание за непокорность, вытоптать на острове все посевы, сжечь дома и запас провианта и оставить их без ничего; но, не имея полномочия, не решился действовать на свой страх, оставил все, как было, и вернулся на корабль, ведя на буксире катер.

С этими двумя число высаженных на берег английских матросов достигло пяти; но первые трое негодяев были еще гораздо хуже этих: прожив с земляками вместе дня два, они выставили их и объявили, что не желают иметь с ними ничего общего, предоставив им устраиваться, как им заблагорассудится. И долго эти бедняки не могли убедить их поделиться с ними хоть пищей, а испанцы в то время еще не вернулись.

Когда испанцы приехали на остров, дело кое-как уладилось. Испанцы стали было убеждать трех англичан принять к себе земляков, чтобы, как они выражались, жить всем одной семьей, но те не хотели и слышать об этом: бедным малым пришлось жить одним и на опыте изведать, что только труд и прилежание могли сделать для них жизнь сносною.

Они поставили свои палатки на северном берегу острова, ближе к западу, чтобы не подвергаться опасности со стороны дикарей, высаживавшихся обыкновенно на восточном берегу, и построили себе здесь две хижины; в одной они хотели жить сами, другая должна была служить им сараем и амбаром. Испанцы дали им зерна для посева и поделились с ними горохом из оставленного мною запаса; они вскопали участок земли, засеяли его, огородили, по образцу моего, и зажили весьма недурно. Первая жатва не заставила себя ждать, и, хотя они засеяли для начала лишь небольшой участок земли, — у них ведь и времени было немного, — все же собранного было достаточно, чтоб им прокормиться до нового урожая; к тому же, один из них был на корабле помощником повара и оказался большим мастером готовить супы, пуддинги и другие кушанья из рису, молока и того небольшого количества мяса, какое можно было достать на острове.

Так они жили в скромном достатке, как вдруг однажды трое бездушных негодяев, их земляков, пришли к ним и просто, ради потехи и чтобы обидеть их, принялись хвастать, что остров принадлежит им, так как губернатор (то есть я) отдал им его во владение и никто, кроме них, не имеет здесь права на землю; следовательно, нельзя строить на ней и домов, если только не платить за них аренды.

Сначала те думали, что они шутят, и пригласили их войти и присесть-посмотреть, какие чудесные дома они себе выстроили, и сказать, сколько же за них надо платить. Один из хозяев шутливо сказал, что раз уже они считают себя землевладельцами и хотят отдавать свою землю в аренду, он надеется, что они, по примеру всех землевладельцев, согласятся отдать им этот участок в долгосрочную аренду, в виду сделанных ими улучшений, — и попросил их сходить за нотариусом и составить контракт. Тогда один из пришедших с бранью и проклятиями объявил, что они вовсе не шутят и он сейчас им это докажет. Неподалеку в укромном местечке бедняги развели огонь, чтобы сварить себе обед; негодяй побежал туда, схватил пылающую головню и принялся бить ею о стенки хижины, при чем дерево, конечно, загорелось, и в несколько минут вся хижина превратилась бы в пепел, если бы один из хозяев во время не оттолкнул неприятеля и не затоптал ногами огонь, что удалось ему не без труда.

Негодяй так разозлился на земляка за то, что тот оттолкнул его, что кинулся на него с колом, выхваченным из изгороди, и, если бы тот не сумел ловко избежать удара и не спрятался бы в хижину, он был бы убит тут же на месте. Его товарищ, видя, какая опасность грозит им обоим, последовал за ним, и через минуту они вышли из хижины уже с мушкетами, в руках. Затем тот англичанин, на которого незванный гость бросился с колом, ударом приклада сшиб с ног обидчика, прежде чем другие два подоспели к нему на помощь; когда те подбежали, они оба повернули к ним ружья дулами вперед и посоветовали им держаться подальше.

У тех тоже было с собой огнестрельное оружие, но один из хозяев похрабрее товарища и доведенный до отчаяния опасностью, крикнул им, что, если только они пошевелиятся, они пропали, и смело потребовал, чтоб они сложили оружие. Оружие они, положим, не сложили, но видя, что он намерен действовать решительно, вступили с ним в переговоры и согласились уйти, забрав с собой своего раненого товарища, который, повидимому, довольно сильно пострадал от удара. Как бы там ни было, обиженные сделали большую ошибку, не воспользовавшись выгодами своего положения и не обезоружив обидчиков на самом деле: им следовало отобрать у тех оружие, что они легко могли сделать, а потом пойти к

испанцам и рассказать, как эти негодяи обошлись с ними; ибо теперь все трое только и думали, что о мести, и каждый день чем-нибудь доказывали это.

Не стану загромождать свой рассказ перечислением разных мелких пакостей, какие они устраивали своим землякам — например, вытоптали их посевы, застрелили трех козлят и козу, прирученную англичанами для того, чтобы пользоваться ее молоком, вообще докучали им всячески и днем и ночью и довели бедняков до такого отчаяния, что те решили при первом же удобном случае открыто напасть на обидчиков, хотя их было всего двое, а тех трое. С этой целью они решили отправиться в замок, т.е. в мое прежнее жилище, где забияки жили вместе с испанцами, и вызвать их на честный бой, а испанцев попросить присутствовать при этом и следить, чтобы бой был действительно честным. Пришли они туда рано утром, еще до рассвета и стали выкликать англичан по именам, а когда отозвался испанец, сказали ему, что они желают говорить со своими земляками.

Случилось, что накануне двое испанцев, будучи в лесу, встретились с одним из этих англичан, которых я, в отличие от других, буду называть честными, и тот стал горько жаловаться им на варварское отношение к ним их земляков и рассказал им, как те разорили их плантацию, вытоптали их хлеб, выращенный с таким трудом, убили дойную козу и трех козлят, — прибавляя, что, если испанцы не помогут им снова, им придется умереть с голоду. Вернувшись домой, за ужином один из этих испанцев стал очень вежливо и кротко выговаривать англичанам и спрашивать, как они могут быть так жестоки к своим землякам, безобидным и смирным людям, которые так много потрудились над своей землей и только что устроились так, чтобы существовать своим трудом.

Один из англичан резко возразил: «А чего им тут делать? Они без позволения начальства съехали на берег, так и нечего им здесь ни сеять, ни строить: это земля не ихняя». «Позвольте, сеньор инглеза», спокойно оказал испанец: «не умирать же им с голоду!» На что англичанин отрезал, как настоящий грубиян-матрос: «Пустьдохнут, коли хотят, а строить и сеять здесь мы им не позволим!» «Но что же им в таком случае делать, сеньор?» «Как что делать? — работать!» воскликнул другой негодяй: «пусть служат нам и работают на нас». «Как вы можете ожидать этого от них? Ведь они не рабы, купленные на ваши деньги, и вы не имеете права заставлять их служить себе». «Остров наш», сказал англичанин, «потому что губернатор нам его отдал, и никто здесь не смеет хозяйничать, кроме нас самих». И он поклялся страшной клятвой, что, если его земляки выстроят себе новые хижины, он и те сожжет, чтоб они не строились на

чужой земле.

«Но позвольте, сеньор», стали говорить испанцы, «если так рассуждать, то и мы все значит должны служить вам?» «Разумеется, да оно так и будет, пока мы совсем не избавимся от вас». И для пущей убедительности дерзкий ввернул еще два-три крепких словца. Испанцы только улыбнулись и даже не удостоили его ответом. Но все-таки этот маленький спор разгорячил англичан и, встав из-за стола, один из них, если не ошибаюсь, тот, которого звали Вилли Аткинсом — сказал другому: «Пойдем, Джэк, схватимся с ними еще раз: ручаюсь тебе, что мы разорим в свое время и этот замок, нечего им разводить колонии в наших владениях».

И они все трое вышли, захватив с собой каждый по ружью, пистолету и сабле и бормоча себе под нос угрозы — как они зададут и испанцам, только бы представился к тому случай; но испанцы, повидимому, не вполне поняли их намерения, поняли только, что негодяи собираются жестоко отомстить им за то, что они приняли сторону двух честных англичан

Куда они направились и как провели вечер, этого испанцы не знали; но, повидимому, они до поздней ночи бродили по острову, а потом, утомившись, улеглись в моей даче, как я ее называл, и крепко уснули. Дело было так: они решили дожидаться полуночи, чтобы захватить земляков сонными и поджечь их хижин с тем, чтобы — как они сами признались после — или сжечь их живьем, или умертвить их, если они выйдут. И странно, как это злоумышленники проспали: коварство редко спит крепким сном.

Как бы там ни было, у двух честных англичан были свои намерения относительно их, хотя и гораздо более благородные, так как тут не было речи ни о поджоге, ни об убийстве — и, к счастью для всех, случилось так, что они встали и ушли из дому еще задолго до того, как кровожадные негодяи добрались до их хижин.

Придя на место и не застав хозяев, Аткинс, повидимому, бывший у них коноводом, крикнул товарищу: «Эге, Джэк, гнездо здесь, а птички-то улетели!» Они стали соображать, с чего бы это их землякам вздумалось подняться так рано, и решили, что, наверное, испанцы предупредили их, и, решив это, поклялись друг другу, что они отомстят испанцам. Затем они накинулись на жилище бедных своих земляков, — жечь не жгли, но растащили его все по кускам, так что от хижин не осталось и следа, даже палки ни одной не осталось, которая бы указывала на то, что здесь было человеческое жилье: они растащили также весь их домашний скарб и разбросали в равные стороны, так что иные вещи бедняки находили потом за милю от своего обиталища.

Сделав это, они повыдергали все молоденькие деревца, посаженные их земляками; растащили по кольям забор, выведенный теми для охраны своего скота и полей: словом все разграбили и опустошили, словно орда татар.

В это время те двое пошли их разыскивать и решили схватиться с ними, где бы они их ни встретили, хотя их было всего двое против троих; — и если б они встретились, непременно произошло бы кровопролитие, потому что надо им отдать справедливость, все они были молодцы, рослые, смелые и решительные.

Но, видно, провидение больше заботилось о том, чтоб они не столкнулись, чем они о том, чтоб сошлись, ибо, выслеживая друг друга, они все время расходились в разные стороны: когда те трое пришли разорять их жилье, эти двое были у замка, а пока эти успели вернуться, те уже были дома. Мы сейчас увидим, насколько различно было их поведение. Трое разбойников вошли в такой раж, опустошая плантацию, что прибежали в замок, как бешеные, сейчас же кинулись к испанцам и рассказали им, что они сделали, прямо-таки хвастаясь этим и показывая, что им на всех наплевать. При этом один сорвал шляпу у одного из испанцев, словно расшалившийся мальчишка, и, повертев ею, нагло захохотал ему прямо в лицо, говоря: «И тебе, сеньор испанец, будет то же, если ты не исправишься». Испанец, хоть и вежливый человек, был вместе с тем храбр, как подобает мужчине, да и силой его бог не обидел он долго пристально смотрел на обидчика, потом, не спеша подошел к нему и, так как оружия при нем не было, размахнулся, да как хватит его кулаком! — тот так и свалился на землю, словно бык от обуха. Другой негодяй, такой же наглый, как и первый, видя это, моментально выхватил пистолет и выстрелил в испанца. Правда, попасть, как следует, он не попал, ибо пули прошли через волосы, но все же одна из них задела кончик уха, и кровь полилась в изобилии. При виде крови испанец подумал, что он ранен серьезнее, чем это было на самом деле, и взволновался; до тех пор он был совершенно спокоен, но тут решил довести дело до конца, нагнулся, поднял мушкет первого англичанина, которого он сшиб с ног, и уже прицелился в другого, который стрелял в него; но тут из пещеры выбежали остальные испанцы и, крикнув ему, чтоб он не стрелял, кинулись на двух англичан и отобрали у них оружие.

Оставшись таким образом без оружия и сообразив, что они восстановили против себя всех испанцев, равно как и своих земляков, забияки немного поостыли и уже вежливее стали просить испанцев, чтоб им отдали назад оружие; но испанцы, помня, какая распря идет между

ними и другими двумя англичанами, и зная, что это лучшее средство предупредить столкновение, возразили, что они не сделают им (англичанам) никакого вреда — и даже, если те будут вести себя смирно, попрежнему будут охотно помогать им, — но о возвращении оружия не может быть и речи, так как они (англичане) открыто похвалялись, что убьют своих земляков, и даже всех испанцев грозились обратить в рабство

Вразумить негодяев оказалось так же трудно, как и ждать от них разумных поступков; получив отказ, они пришли в страшную ярость и, жестикулируя, как безумные, стали грозиться, что они и без оружия сумеют отплатить за себя. Но испанцы посоветовали им быть осторожнее и не вредить ни плантациям, ни скоту, потому что при первой же попытке их пристрелят, как бешеных собак, а если они живыми попадутся в руки, им не миновать виселицы. Но и тут они не унялись, а продолжали ругаться и неистовствовать, словно фурии. Только они ушли, прибежали двое других англичан, тоже страшно взволнованные и вне себя от ярости, хотя у них, конечно, было на то больше оснований, ибо они успели побывать дома и увидеть, какое там опустошение. Не успели они рассказать о своей горькой обиде, как испанцы, перебивая друг друга, стали рассказывать им о своей: даже странно, что три человека могли так безнаказанно издеваться над двенадцатью.

Это происходило оттого, что испанцы относились к ним пренебрежительно и, в особенности теперь, когда они были обезоружены, только смеялись над их угрозами; но двое англичан решили разыскать обидчиков во что бы то ни стало и расправиться с ними.

Однако же, испанцы и тут вмешались, объявив, что у тех троих бездельников оружие отнято и что они (испанцы) не могут позволить преследовать безоружных с оружием в руках. «Но если вы предоставите это нам», — прибавил степенный испанец, их набольший, — «мы попытаемся заставить их вознаградить вас. Когда досада их поуляжется, они, без сомнения, придут к нам опять, потому что без нашей помощи им не прожить, и вот тогда мы обещаем вам не мириться с ними, пока они не дадут вам полного удовлетворения. Надеюсь, что на таких условиях и вы обещаете нам не употреблять против них насилия иначе как для самозащиты».

Обиженные англичане согласились на это неохотно и не сразу, но испанцы уверили их, что они хотят только предотвратить кровопролитие и наладить отношения. «Нас», говорили они, «не так уж много, и места для всех довольно, и это большая жалость, что мы все не можем жить дружно». В конце концов англичане уступили, и пока что стали жить с испанцами,

так как собственное их жилье было разрушено.

Дней через пять трое бродяг, утомленные бесплодными скитаниями и еле живые от голода, подошли к опушке рощи, что возле замка, и, встретив несколько испанцев, в том числе моего, т.е. наибольшего, стали униженно и смиренно просить, чтоб их приняли снова в семью. Испанцы очень учтиво ответили, что они так бесчеловечно поступили со своими земляками и так грубо обошлись с ними самими (испанцами), что они ничего не могут сказать, не посоветовавшись с остальными товарищами и с двумя англичанами; но что они сейчас же пойдут и созовут всех на совет, а ответ дадут через полчаса. Нетрудно было догадаться, что положение их бедственное, раз они согласились на это. В ожидании ответа они умоляли испанцев выслать им немного хлеба; те согласились и вместе с хлебом прислали им большой кусок козы и вареного попугая. Буяны съели все с большим аппетитом, настолько они были голодны.

Через полчаса их позвали в дом, и тут произошло объяснение между обиженными и обидчиками; первые обвиняли вторых в том, что они уничтожили все плоды их трудов и хотели умертвить их, те уже раньше сознались в этом и, следовательно, не могли отрицать этого и теперь. Тогда вступились испанцы в качестве примирителей и, как раньше они потребовали от двух обиженных англичан; чтобы они не мстили обидчикам, пока те безоружны и беззащитны, — так теперь они потребовали, чтобы виновные отстроили хижины для своих земляков — одну таких же размеров, как прежние, а другую побольше, — а также обнесли их землю вновь изгородью, вместо той, которую они уничтожили; насадили деревьев на место вырванных; вскопали землю под новый посев на том месте, где вытоптали прежний — словом, привели все в тот же вид, в каком они застали его, конечно, насколько это было возможно. Целиком поправить дело было уже нельзя, так как время было пропущено и посаженные вновь деревья не могли приняться так скоро.

Виновные покорились и, так как их все время кормили досыта, стали работать исправно; но никакими убеждениями нельзя было заставить их сделать что-нибудь для себя; если им и случалось иногда приниматься за дело, то лишь изредка и не надолго, пока хватало охоты. Прожив таким образом месяца два все вместе тихо и мирно, испанцы вернули провинившимся оружие и свободу уходить когда угодно и куда угодно. Не прошло и недели, как неблагодарные стали попрежнему наглы и дерзки; но тут случилось нечто, грозившее опасностью жизни всех, так что пришлось отложить личные счета в сторону и сообща позаботиться об охране маленькой колонии.

Однажды ночью наибольший испанец, как я называю его, — т.е. тот, которому я спас жизнь и который был у них теперь за капитана или вождя, словом за старшего, — ни с того, ни с сего вдруг начал тревожиться и никак не мог уснуть: он чувствовал себя совершенно здоровым физически, но на душе у него было беспокойно: ему все представлялись вооруженные люди, убивающие друг друга; беспокойство его все росло, и он, наконец, решил встать. Встал, вышел за дверь — ночь темная, ничего не видать или почти ничего, да и деревья, посаженные мной вокруг замка и теперь густо разросшиеся, мешали видеть; поднял голову — небо ясное и звездное; шума никакого не слышно; он вернулся и снова лег.

Но все таки он никак не мог успокоиться: сон бежал от его глаз, и мысли были все такие тревожные, а почему — он и сам не знал.

Его шаги, стук отворившейся и затворившейся двери разбудили другого испанца, и тот опросил: «Кто здесь ходит?» Первый испанец назвал себя и объяснил, почему он не может уснуть. «Знаете», оказал ему другой испанец, «такими вещами не следует пренебрегать; раз у вас такие мысли, значит, что поблизости творится что-то недоброе. А где англичане?» «В своих хижинах; их бояться нечего».

Надо заметить, что после той истории испанцы завладели главным жильем, поместив англичан отдельно, чтобы те не могли добраться до них ночью. «Да, это не спроста, я это знаю по опыту; я убежден, что наши души могут вступать в общение с бесплотными душами, обитателями невидимого мира, и получать от них предостережения; эти дружеские знаки даются для нашего блага, надо только уметь ими пользоваться. Пойдем ка, осмотрим все кругом и если не найдем ничего, что бы оправдывало наши предчувствия, я расскажу вам одну историю, которая убедит вас в справедливости моего предположения».

И вот они пошли на вершину холма, того самого, на который и я часто ходил, чтобы взглянуть на море; но так как их было несколько, а не один, и они чувствовали себя сильными, то они и не принимали таких предосторожностей, какие принимал я, и не взбирались по лестнице, втаскивая ее потом за собою, а пошли кругом через рощу, ничего не боясь и не ожидая никакой опасности, как вдруг увидели невдалеке огонь и услышали человеческие голоса — притом не одного или двух человек, а целой толпы людей.

Почему дикарей явилось на этот раз такое множество — было ли это последствием бегства во время нашей последней стычки трех дикарей, спасшихся в лодке, и сбылись ли мои опасения, что они вернутся и приведут с собою других, или же они приехали случайно и не подозревая,

что остров населен, для своего обычного кровавого пира — испанцы, повидимому, выяснить не могли. Как бы там ни было, им следовало напасть на дикарей врасплах и перебить их всех так, чтобы ни один не уцелел, а для этого надо было загородить им путь к лодкам; но у них не хватило на это присутствия духа, и, благодаря этому, их душевный покой был нарушен надолго.

Увидав огонь и вокруг него дикарей, наибольший испанец с товарищем побежали назад и подняли на ноги всю колонию вестью о грозящей им неминуемой гибели; те мигом оделись, но их невозможно было убедить сидеть смирно дома; каждому непременно хотелось самому посмотреть, как обстоит дело.

Пока было темно, это не представляло большой опасности, и они могли в течение нескольких часов вдоволь насмотреться на дикарей при свете трех костров, разложенных на некотором расстоянии один от другого. Что делали дикари, испанцы не знали и не знали также, что предпринять им самим, так как, во первых, врагов было слишком много во вторых, они держались не все вместе, но разбились на группы и расположились на берегу в разных местах.

Зрелище это повергло испанцев в большое уныние, и так как дикари рыскали по всему берегу, то они не сомневались, что в конце концов пришельцы наткнутся на замок или по каким-нибудь признакам жилья догадаются, что здесь есть люди. Очень они боялись также за свое стадо; если бы дикари перебили или увели их коз, им грозила бы опасность умереть с голоду. Поэтому первым Делом они порешили послать до рассвета трех человек: двух испанцев и одного англичанина, чтобы те загнали коз в большую долину, где находилась пещера, а в крайности — в самую пещеру.

Если бы дикари собрались все вместе и главное где-нибудь вдали от лодок, то испанцы напали бы на них, будь их хоть сотня, но этого невозможно было ожидать: два главных отряда их находились на расстоянии двух миль один от другого и, как оказалось потом, принадлежали к двум различным племенам.

Долго они судили и рядили, как быть и что предпринять и, наконец, порешили, пользуясь темнотою, послать старого дикаря (отца Пятницы) на разведку и узнать, если будет возможно, зачем они сюда приехали, что намерены делать здесь и т.д. Старик не колебался ни минуты и, раздевшись догола, — так как большинство дикарей были голые — направился к ним. Часа через два он вернулся и рассказал, что все время бродил среди диких, не возбуждая никаких подозрений, и узнал, что их приехало два отряда, из

двух различных племен, воюющих между собою; что недавно у них было большое сражение, и обе стороны, набрав пленных, случайно съехались на одном и том же острове с целью повеселиться и полакомиться человеческим мясом, но что эта случайная встреча отравила им все веселье; что оба племени страшно разъярены одно против другого и расположились так близко друг от друга, что, как только рассветет, они, наверное, подерутся; но что ни одно из племен, повидимому, не подозревает, что на острове есть люди кроме диких. Не успел он окончить свой рассказ, как поднялся страшный шум, из чего колонисты заключили, что две маленькие армии вступили в кровавый бой.

Отец Пятницы истощил все доводы, убеждая белых засесть в замке и не показываться, он говорил что их безопасность зависит от этого, что дикари сами перебьют друг друга, а уцелевшие уберутся восвояси; точь в точь так и вышло, но не мог убедить их — любопытство перевешивало в них благоразумие, особенно в англичанах, им непременно хотелось посмотреть как дерутся дикие. Тем не менее они все-таки приняли некоторые меры предосторожности, а именно: расположились не возле своего жилища, а пошли дальше в лес и поместились так, чтобы видеть битву, не подвергаясь опасности и, как они думали, не будучи видимыми; но, должно быть, дикари все же заметили их, как мы увидим впоследствии.

Бой был жаркий, и если верить англичанам, то среди дикарей были люди высокой храбрости и непобедимого мужества, весьма умело руководившие битвой. В течение двух часов по словам англичан, нельзя было определить, какая сторона одержит победу; потом тот отряд, что был поближе к нашему дому, начал заметно ослабевать, и, некоторое время спустя, часть его обратилась в бегство. Это опять таки повергло наших в жестокий страх — как бы кто-нибудь из беглецов не вздумал искать убежища в роще, что возле замка, при этом он невольно открыл бы жилище, а вслед за ним и его преследователи. Тут они решили укрыться с оружием в руках за оградой и чуть дикари покажутся в роще перебить по возможности всех, чтобы ни один не вернулся к своим рассказать о виденном. Они уговорились также бить холодным оружием или прикладами, но не стрелять, чтобы выстрелами не привлечь дикарей.

Как они думали, так и вышло трое дикарей из побежденного племени забежали в рощу, вовсе не предполагая, что в ней есть жилище, а просто ища убежища в чаще. Часовой, поставленный караулить на опушке, тотчас же дал знать об этом, прибавив, к великому удовольствию наших, что беглецов никто не преследует и что победители даже не видели, в какую сторону они направились. Узнав это, набольший испанец, человек очень гуманный, не

позволил убивать беглецов, но велел троем испанцам обогнуть холм, напасть на них с тылу врасплох и взять их в плен — что и было исполнено. Остатки побежденной армии бросились к челнокам и уехали; победители почти не преследовали их, но, собравшись все вместе, дважды издали пронзительный клич, видимо торжествуя победу. Таким образом кончился бой; в тот же день, часов около трех пополудни, и они сели в свои челноки и уехали. Таким образом, испанцы снова остались хозяевами острова и несколько лет потом не видели дикарей.

Когда все уехали, испанцы вышли из своей засады и, обойдя поле битвы, нашли на нем тридцать два трупа, но ни одного раненного; у дикарей такой уж обычай — они или избивают врагов всех до последнего (из луков или тяжелыми деревянными мечами), или уносят с собой всех раненых и недобитых.

После этого происшествия англичане надолго присмирели. Зрелище битвы заполняло ужасом их сердца; еще страшнее казались им ее последствия, в особенности предположение, что когда-нибудь они сами могут попасть в руки этих чудовищ, которые убили бы их не только как врагов, но и просто для того, чтобы съесть их, как мы убиваем скот. Такая опасность, как я говорил, укротила даже наших буйных молодцов, и долго после того они были послушны и довольно добросовестно работали вместе с другими на всю общину — садили, сеяли, жали и совсем привыкли ж острову и условиям жизни на нем; но, немного времени спустя, они пустились в одно предприятие, которое наделало им много хлопот.

Я уже говорил, что наши взяли в плен трех дикарей, и так как все трое были дюжие, рослые молодцы, испанцы обратили их в слуг и заставили работать на себя; из них вышли недурные невольники. Но они не поступали с ними так, как я с моим Пятницей — не вселяли в них убеждения, что они спасли им жизнь, не учили их постепенно разумным правилам жизни и тем более религии, не приручали их постепенно и не укрощали природной дикости их нрава ласковым обхождением и ласковыми беседами. Правда, они кормили их ежедневно, но зато и заставляли их работать с утра до вечера в поте лица; но невольники эти никогда не стали бы помогать им и сражаться за них, как мой Пятница, который был так верен и предан мне, словно был моим телом.

Но пора вернуться к рассказу. Итак, наши всей семьей (я уже говорил, что общая опасность всех примирила) стали совещаться, что им теперь предпринять, и первым делом обсуждать вопрос, не лучше ли им перенести свое жилье на другое место, так как дикари посещали исключительно эту часть острова, а в глубине его, дальше от моря, были места, более глухие,

но где они могли бы безопаснее хранить зерно и скот.

После долгих споров решено было не переносить жилья, так как они не теряли еще надежды получить весточку от своего губернатора (т.е. от меня) и рассчитывали так: если я когонибудь пошлю за ними, то, конечно, направлю его на эту сторону острова, и если мои послы не найдут на указанном месте дома, они подумают, что дикари перебили всех поселенцев, и уедут, и таким образом исчезнет последняя надежда выбраться отсюда.

Зато поля и скот они постановили перенести в долину, где находилась моя пещера, где земля была удобна и для хлебопашества и для пастбищ, да и земли было вдоволь; но, пораздумав, изменили наполовину и этот план, положив перевести туда только часть скота и часть посевов, так что, если бы неприятель уничтожил одну половину, по крайней мере, другая бы уцелела. Это было очень благоразумно с их стороны и еще благоразумнее, что они не доверились взятым ими в плен дикарям и ничего им не рассказывали ни о плантации, разведенной ими в долине, ни о помещенном там стаде, ни тем менее о пещере, которую они приберегали на случай, если им понадобится надежное и безопасное убежище; в эту же пещеру они перенесли и посланные мною при отъезде два боченка пороху.

Итак, они решили оставить замок на прежнем месте, но как я тщательно укрыл его сначала валом, потом деревьями, разросшимися в целую рощу, — так и они — видя, что они могут считать себя в безопасности, только будучи хорошо спрятаны, в чем они теперь окончательно убедились, — принялись за работу с целью лучше прежнего укрыть свое жилье от постороннего взора.

Возвращаясь к прерванному рассказу. В течение двух лет наши жили совершенно спокойно и не видели дикарей. Правда, однажды утром они сильно переполошились, ибо несколько испанцев, отправившись рано утром на западную сторону или, вернее, на западный конец острова — кстати сказать, я именно этого конца всегда избегал из боязни быть замеченным дикарями — видели больше двадцати челноков с индейцами, подъезжавших к берегу.

Они со всех ног бросились домой и подняли тревогу. Весь этот день и следующий наши просидели взаперти, только ночью выходя на разведки; но на этот раз им повезло: куда ехали дикари — неизвестно, но они совсем не приставали к берегу, и наши ошиблись в своих ожиданиях.

Вскоре у них опять вышла ссора с тремя англичанами, и вот из-за чего. Один из этих последних, разозлившись на одного из невольников за то, что тот не исполнил какого-то его приказа или сделал не так, как он велел, и

неохотно слушал его указания, вытащил из-за пояса топор и кинулся на бедного дикаря, не для того, чтобы поучить, его, но чтобы убить. Испанец, бывший неподалеку, увидав, как тот нанес дикарю жестокую рану, — он метил в голову, но попал в плечо, — подумал, что он отсек бедняку руку, подбежал и, умоляя его не убивать несчастного, заслонил собою дикаря, чтобы предотвратить беду.

Драчун еще пуще взбесился и замахнулся топором уже на испанца, божась, что он угостит его так же, как хотел угостить дикаря; испанец успел во время уклониться от удара и сам сшиб с ног негодяя заступом, который держал в руке (они все работали в поле). Другой англичанин, прибежавший на помощь первому, в свою очередь сшиб с ног испанца; двое испанцев кинулись выручать товарища, а третий англичанин напал на них. Огнестрельного оружия ни у кого из них не было при себе; да и вообще, не было иного оружия, кроме топоров и лопат; только у третьего англичанина оказался мой старый заржавленный тесак, с которым он накинулся на двух испанцев, прибежавших последними, и ранил их обоих. На шум прибежали все остальные испанцы и связали трех англичан. Теперь надо было решить, что с ними делать. Все трое так часто бунтовали, были такие свирепые и бесшабашные головорезы, ни во что не ставящие жизнь человека, и притом же такие лентяи, что жить с ними было далеко не безопасно; и бедные испанцы положительно не знали, как поступить.

Их набольший напрямик объявил англичанам, что будь они его земляки, он их всех бы повесил — ибо все законы и правители существуют для того, чтобы охранять общество, и люди, опасные для общества, должны быть изъяты из него, — но так как они англичане, а все находящиеся здесь испанцы обязаны своим освобождением из плена и жизнью великодушию и доброте англичанина, он готов оказать им всевозможное снисхождение и отдать их на суд их же земляков.

Один из двух честных англичан, бывший при этом, возразил от лица обоих, что им это было бы вовсе нежелательно, так как им пришлось бы отправить своих земляков на виселицу. И он рассказал, как Вилль Аткинс предлагал всем пяти англичанам соединиться и, захватив испанцев спящими, всех их умертвить.

Услышав это, набольший испанец обратился к Биллю Аткинсу: «Как! сеньор Аткинс, вы хотели нас умертвить? Что вы на это скажете?» Закоренелый негодяй не только не отрицал этого, но напрямик объявил, что это суцая правда и что это еще от них не ушло. «Хорошо, сеньор Аткинс, но за что же вы хотите убить нас? Что мы вам сделали? И если б вы умертвили нас, какая была бы от этого польза? И что же нам надо делать

для того, чтобы предотвратить это? Умертвить вас, чтобы вы нас не перебили? Зачем вы хотите принудить нас к этому, сеньор Аткинс?»

Испанец говорил все это совершенно спокойно и улыбаясь, но сеньор Аткинс до того рассвирепел, — зачем тот обратил все это в шутку — что, если б его не держали трое зараз да будь у него оружие, он бы, кажется, убил испанца тут же на месте, на глазах у всех. Такая отчаянность заставила всех призадуматься — как тут быть. После долгих препирательств (испанец и два честных англичанина, вступившихся за дикаря, стояли за то, чтобы повесить одного из негодяев для острастки других, старый же испанец настаивал на более мягком отношении, так как преступники принадлежали к той же нации, что и его спаситель) решено было, во первых, отобрать у виновных оружие и ни под каким видом не давать им ни ружей, ни пороху и патронов, ни сабель или ножей; затем изгнать их из общины и предоставить им жить, где им угодно и как угодно за свой собственный счет и риск, но чтобы при этом никто из остальных членов общины, испанцев или англичан, не ходил к ним и не говорил с ними, словом, не имел с ними никакого дела; а для этого запретить им подходить ближе, чем на известное, расстояние, к жилью остальных; а если они какнибудь напроказят — подожгут дом, разорят плантацию, вытопчут поле, разнесут по кусочкам изгородь или начнут убивать скот — казнить их без милосердия.

Набольший испанец, человек очень гуманный и добрый, поразмыслив об этом приговоре, обернулся к двум честным англичанам и сказал: «Послушайте, надо же принять в расчет, что пройдет много времени, прежде чем у них будет свой собственный хлеб и скот; не умирать же им с голоду, — надо будет снабдить их провизией». И он предложил выдать изгнанным семян на посев и зерна столько, чтобы хватило на восемь месяцев, предполагая, что через восемь месяцев они уже успеют снять жатву с собственного поля; кроме того, дать им шесть дойных коз, четырех козлов и шесть козлят, а также снабдить их орудиями, необходимыми для полевых работ — топорами, секирой, пилой и т.д.; но не давать ни орудий, ни хлеба, пока они торжественно не поклянутся, что не станут вредить ни испанцам, ни своим землякам.

Таким образом, бунтовщики были изгнаны из общины и предоставлены собственной участи. Ушли они угрюмо и неохотно, как будто им нежелательно было ни уйти, ни остаться; но делать было нечего, приходилось идти, и они пошли, заявив, что выберут место, где поселиться, отдельно от других. Как было сказано, их снабдили запасом провианта, но не дали им оружия. Поселились они на северо-восточном конце острова,

недалеко от места, куда меня прибило на берег после моей несчастной попытки обогнуть остров на лодке. Место, где они обосновались, было похоже на место, выбранное мной для жилища: у крутого склона холма, защищенное с трех сторон деревьями.

Так они жили особняком целых шесть месяцев и собрали первую жатву, но, когда наступило время дождей, им негде было спрятать зерно от сырости, так как у них не было ни погреба ни пещеры, и они пришли с поклоном к испанцам, прося их помочь. Те охотно согласились и в четыре дня выкопали большую нору в склоне холма, где можно было укрыть от дождя и собранный хлеб и все другое.

Месяцев через девять после разрыва бунтари придумали новую затею, которая, вместе с первой гнусностью, совершенной ими, навлекла на их же головы кучу напастей и чуть было не погубила всей колонии. Повидимому, они начали тяготиться трудовой жизнью и, потеряв надежду улучшить свое положение, вздумали совершить поездку на континент, откуда приезжали на остров дикари, и попытаться захватить нескольких туземцев, обратить их в рабство и заставить работать на себя.

Однажды утром они все трое пришли к испанцам и смиренно выразили желание переговорить с ними. Те охотно согласились их выслушать. Тогда они заявили, что устали жить так, как они живут, что они плохие работники и не в силах доставить себе все необходимое, так что без посторонней помощи им придется умереть с голоду; но если испанцы позволят им взять одну из лодок, в которых они приехали, и снабдят их оружием и зарядами, они (англичане) отправятся на материк искать счастья и, таким образом, избавят остальных от хлопот и необходимости оказывать им поддержку.

После тщетных уговоров испанцы очень любезно ответили, что раз уж они решили ехать, их, — конечно, не отпустят голыми и безоружными; что оружия у них (испанцев) и у самих мало, так что многого они дать не могут, но все же дадут им два мушкета, пистолет, кортик и каждому по топору; — этого им казалось достаточно. Одним словом, предложение было принято.

Отъезжающим дали хлеба на месяц и столько козлятины, чтобы они могли есть вдоволь, пока мясо будет свежо, дали им еще большую корзину изюму, кувшин воды для питья и живого козленка; забрав все это, они отважно пустились в челноке через море, которое в этом месте было, по крайней мере, в сорок миль шириной. Лодка их, положим, была большая и могла бы поднять даже пятнадцать или двадцать человек, но именно потому им было трудноато управлять ею, зато ветер и прилив им

благоприятствовали, и дело пошло на лад. Из длинного шеста они сделали себе мачту, а из четырех высушенных козьих шкур большого размера, сшитых или связанных шнурками вместе — парус, и весело отправились в путь. Испанцы крикнули им вслед: «*Buen viage*» — (счастливой дороги), и никто из оставшихся на острове не чаял больше свидеться с ними.

Однако, через двадцать два дня один из двух честных англичан, работавших на плантации, увидел подходивших к нему троих странного вида людей; у двоих из них за плечами были ружья. Англичанин бросил работу и убежал со всех ног, словно от нечистой силы, прибежал страшно перепуганный к набольшему испанцу и говорит ему, что они все пропали, так как на остров приехали чужие люди, а какие — он не может сказать. Испанец и говорит ему: «То есть как же это не можете сказать? Дикари, конечно!» «Нет, нет, это одетые люди и с ружьями». «Но в таком случае, чего же вы испугались? Если это не дикари, значит, друзья, ибо к какой бы христианской нации они ни принадлежали, они могут сделать нам скорее добро, чем вред».

Пока они разговаривали, трое англичан пришли в лесок, недавно только посаженный около замка, и стали вызывать испанцев. Их тотчас узнали по голосу, так что на этот счет всякие опасения рассеялись; но теперь наши стали дивиться другому — что могло случиться с тремя бродягами и что заставило их вернуться?

Их тотчас впустили в дом, стали расспрашивать, и они в кратких словах рассказали о своем путешествии. За два дня или даже меньше того они добрались до земли, но, видя, что население встревожено их прибытием и готовится встретить их с луками и стрелами в руках, они не посмели пристать к берегу, а поплыли дальше на север и так плыли часов шесть или семь, пока не вышли в открытое море; тут они увидели, что земля, видимая с нашего острова, не материк, но также остров; по правую руку к северу они заметили еще остров, а на западе целую группу островов, и так как им нужно же было пристать гденибудь, они подъехали к одному из этих западных островов и смело вышли на берег. Здесь жители обошлись с ними очень учтиво и дружелюбно, дали им съедобных корней и сушеной рыбы и, повидимому, рады были их приезду; женщины, на перебой с мужчинами, спешили их наделить всякой едой, какую только могли добыть, и приносили ее издалека на головах.

Здесь они прожили четыре дня, расспрашивая, как умели, знаками, что за народы живут направо и налево от этого острова, и узнали, что почти везде вокруг живут свирепые и жестокие племена питающиеся человеческим мясом. Что касается самих островитян, они объяснили

знаками, что не едят ни мужчин, ни женщин, кроме тех, которых возьмут в плен на войне, но в таких случаях устраивают большой пир и съедают пленных.

Англичане спросили, когда у них в последний раз был такой пир, и дикари ответили: два месяца назад, указав сначала на луну, потом на два пальца; и еще объяснили, что их великий царь забрал на войне двести человек в плен, и теперь их всех откармливают для следующего пира. Англичанам очень захотелось взглянуть на этих пленных, и они попробовали выразить это: а дикари поняли их в том смысле, что они хотят увезти несколько человек с собой и съесть их дома, и закивали утвердительно головами, указывая сначала на закат, потом на восход; это значило, что на следующий день на рассвете они приведут гостям нескольких человек. И действительно на следующее утро англичанам кривели пять женщин и одиннадцать мужчин для того, чтобы они взяли их с собой, как приводят на пристань быков и коров для продовольствия судна.

Как ни были бесчеловечны трое парней, предложение это возмутило их. Но отказаться от подарка было бы жестокой обидой для дикарей — а что делать с пленными, англичане не знали. Тем не менее, посоветовавшись и поспорив между собой, они решили принять дар и взамен его дали дикарям один из своих топоров, старый ключ, нож и шесть или семь пуль, — назначения которых дикари не понимали, но, повидимому, остались довольны. После этого, связав бедным пленникам руки за спиной, дикари втащили их в лодку, на которой приехали англичане.

Теперь англичанам оставалось только немедленно уехать, так как иначе дикари, предложив им такой великолепный подарок, наверное рассчитывали бы, что их гости убьют поутру двух или трех пленных и пригласят дарителей на пиршество.

Поэтому, простившись с гостеприимными дикарями и выразив им свое почтение и признательность, насколько это возможно выразить, когда обе стороны совершенно не понимают друг друга, англичане отчалили и поплыли обратно к первому острову, а прибыв туда, выпустили восемь пленных на свободу, так как их было слишком много.

Во время пути они пытались какнибудь объяснить со своими пленниками но тем невозможно было ничего втолковать, — что ни говорили им англичане, что ни давали, что ни делали для них, — те все ждали, что белые вот-вот умертвят их. Первым делом их развязали, но бедняки стали кричать и вопить, в особенности женщины, как будто им приставили нож к горлу; они сейчас вывели заключение, что их развязали для того, чтобы

убить.

Дали им есть — опять то же: они вообразили, что их кормят для того, чтобы они не спали с тела и не сделались негодными в пищу; стоило на кого-нибудь пристально посмотреть — все остальные решали, что тот или та, на кого смотрят, кажется жирнее других, следовательно, будет первой жертвой. Даже спустя несколько дней, несмотря на доброе и ласковое обхождение с ними их новых господ, они все ждали, что те, не нынче, так завтра, заколют кого-нибудь из них на обед или на ужин.

Выслушав эту необыкновенную историю, испанцы спросили, где же помещены эти пленные, и, узнав, что они уже привезены на остров и находятся в одной из хижин и что англичане пришли просить провизии для них, испанцы и двое других англичан — т.е., иными словами, все поселенцы — решили пойти взглянуть на них, и пошли, и отец Пятницы с ними.

Пленные сидели в хижине связанные: по выходе на берег англичане скрутили им руки, чтобы они не удрали в лодке. Все они были совершенно нагие. Трое мужчин, видные, рослые, хорошо сложенные, имели от тридцати до тридцати пяти лет от роду; из пяти женщин две были в возрасте между тридцатью и сорока годами, две лет 24-х или 25; пятой, красивой статной девушке, было не больше семнадцати лет. Все женщины были довольно красивы и телом и лицом, только смуглы: две из них, будь они белые, могли бы прослыть красавицами и в Лондоне; они выделялись среди других чрезвычайно привлекательной внешностью и скромным обхождением, в особенности потом, когда их одели и «нарядили», как они выражались, хотя наряды эти были весьма убогие.

Первым делом наши послали к ним старого индейца, отца Пятницы, посмотреть, не узнает ли он кого-нибудь и не сумеет ли поговорить с ними. Войдя в хижину, старик долго внимательно вглядывался в их лица, но не нашел ни одного знакомого, и, кроме одной женщины, никто из пленных не понимал ни его знаков, ни его слов. Но и этого было достаточно, чтобы объяснить пленным, что они в руках христиан, которые не едят ни мужчин ни женщин, и, следовательно, могут не бояться за свою жизнь: убивать их никто не будет. Убедившись в этом, пленные стали на всякие лады выражать свою радость так неуклюже и своеобразно, что невозможно описать; они, повидимому, принадлежали к нескольким различным племенам.

Через женщину, служившую им переводчицей, наши спросили — желают ли дикари служить им и работать на людей, которые увезли их из плена и спасли им жизнь? При этом вопросе они пустились в пляс, потом

стали хватать, что попадалось под руку и класть себе на плечи, в знак того, что они охотно готовы работать.

Набольший испанец, находивший, что присутствие женщин в их среде может повести к недоразумениям, ссорам и даже кровопролитью, спросил трех англичан, как они намерены поступить с женщинами и в качестве чего оставить их у себя — в качестве служанок или жен? Один из англичан, не задумываясь, отрезал: «И тех и других». На это набольший испанец сказал: «Я не намерен стеснять вас относительно этого вы сами себе господа; но я полагаю, будет только справедливо, если каждый из вас обяжется не брать себе в жены более одной женщины, и надеюсь, что, во избежание беспорядков и ссор между вами, вы исполните мое требование». Это требование показалось всем настолько справедливым, что все охотно согласились подчиниться ему.

Затем англичане спросили испанцев, желает ли кто либо из них взять жену, но все испанцы ответили отрицательно. Некоторые сказали, что у них дома остались жены; другие, что им неприятно иметь дело не с христианками, и все единодушно заявили, что они не тронут ни одной из женщин; — подобной добродетели за все свои путешествия я еще не встречал. Зато пятеро англичан взяли себе каждый по жене, я хочу сказать — временной жене, и зажили по новому. Испанцы и отец Пятницы остались жить в моем замке, который они значительно расширили внутри; с ними жили и трое слуг, захваченных ими в последней битве с дикарями; все вместе они составляли главное ядро колонии, снабжавшее остальных пищей и помогавшее им во всем по мере сил и надобности.

Но самое удивительное в этой истории то, как эти драчуны и забияки без спора поделили между собой женщин, как, например, двое остановили свой выбор на одной и той же, тем более, что две или три из пленниц были несравненно привлекательнее других. Но они придумали хороший способ предупредить ссору: поместили всех пятерых женщин в одной хижине, а сами пошли в другую и бросили жребий, кому первому выбирать.

Тот, кому досталась первая очередь, вошел один в хижину, где находились бедняжки, и, выбрав себе ту, которая ему понравилась, вывел ее на улицу. Любопытно, что именно первый выбиравший взял себе в жены из пяти самую старую и некрасивую, чему немало смеялись не только англичане, но даже степенные испанцы; однако, расчет малого был далеко неглуп: он сообразил, что ему нужна не столько красивая, сколько сметливая и работающая женщина — и его жена оказалась лучшей из всех.

Поделив между собой женщин, новопривывшие принялись за работу;

испанцы помогали им, и через несколько часов для каждой отдельной семьи была готова новая хижина или шалаш. Две прежние хижины были обращены в склады земледельческих орудий, домашней утвари и провизии. Трое бродяг выбрали себе место для жилья подальше от замка; двое честных англичан, наоборот, поближе к нему, но те и другие поселились в северной части острова. Таким образом на моем острове явилось уже три населенных пункта, или, если угодно, были заложены три города.

Здесь не мешает заметить, что, как это часто бывает на свете (какую роль играют в таком порядке вещей мудрость и воля провидения, сказать не сумею), двум честным англичанам достались худшие жены; а троим висельникам, ни на что негодным и неспособным сделать что-либо путное даже и для самих себя, а уж для других и подавно, — этим троим достались умные, работающие, заботливые и ловкие жены. Не то, чтобы первые две были дурными женами в смысле характера или нрава — все пять были покладистые, спокойные и покорные создания, скорее рабыни, чем жены; я хочу сказать только, что они были менее понятливы, способны и трудолюбивы, чем другие, и, кроме того, не так опрятны.

Что касается троих висельников, как я справедливо их называю, они хоть и очень укротились, сравнительно с прежним, и не заводили теперь ссор на каждом шагу, — впрочем, теперь у них и поводов к тому было меньше, — но все же не могли избавиться от одного из пороков, присущих низким людям, и именно — от лени. Правда, они сеяли ячмень и делали изгороди, но к ним можно было вполне применить слова Соломона: «Шел я мимо виноградника празднотлюбца и видел, что весь он зарос тернием». Так и испанцы, когда пришли посмотреть их всходы, местами не видели злаков, так они заросли сорными травами; в изгороди были дыры, через которые на поле проникали дикие козы и съедали всходы; правда, потом эти дыры были заложены хворостом, но что значило запирать дверь в конюшню уже после того, как украдена лошадь. Наоборот, на хозяйстве двух других англичан всюду лежал отпечаток трудолюбия и заботливости, на их полях не было сорных трав, глушивших всходы, не было отверстий в изгородях; они, с своей стороны, оправдывали слова того же Соломона, сказанные в другом месте: «Прилежная рука творит богатство», у них все росло и цвело, и дом у них был полная чаша; у них и ручного скота было больше, чем у других, и орудий, и всякого домашнего скарба, да и развлечений тоже.

Правда, жены троих бездельников были очень ловки и опрятны. Они научились поваренному искусству у одного из честных англичан, который, как я уже упоминал, был поваренком на корабле, и отлично стряпали своим

мужьям английские блюда, в то время как их подруги никогда не могли постичь тайны этого искусства; бывшему поваренку самому приходилось стряпать. Что же касается мужей трех трудолюбивых женщин, то они лодырничали, доставали черепаши яйца, ловили рыбу и птиц. Словом, всячески отлынивали от работы, отчего страдало их хозяйство. Прилежные жили хорошо и в достатке; лодыри в нужде и лишениях; так, я думаю, всегда бывает на свете.

Теперь расскажу об одном случае, подобного которому еще не бывало ни с ними, ни со мной. Однажды, рано утром, к берегу подъехали пять или шесть челноков с индейцами или дикими, называйте как хотите; приехали они, конечно, с тою же целью, как и прежде, т.е. чтобы покушать человеческого мяса; это было уже не в диковинку испанцам, да и моим землякам тоже, так что они теперь уже не пугались, зная, что если дикари не заметят их, то спокойно уберутся восвояси (о том, что на острове есть жители, диким не было известно) они дали наказ всем трем поселкам смирно сидеть дома, не показываясь, и только в удобных местах выставять часовых, которые бы оповещали, когда лодки диких отъедут от берега.

Так, без сомнения, и нужно было поступать, но в этот раз несчастная случайность испортила все дело и выдала диким тайну населенности острова, что повергло в крайнее уныние всех поселенцев. Когда лодки диких отчалили, испанцы пошли на разведки, и один из них, из любопытства, предложил пойти на то место, где пировали дикари, и посмотреть, что они там делали. К великому моему удивлению, они нашли там трех дикарей, лежащих на земле и спавших крепким сном. Испанцы совершенно растерялись при виде их, не зная что делать. Посоветовавшись между собой, они решили притаиться еще на время и, если возможно, дожждаться, когда и эти трое уедут; но наибольший испанец вспомнил, что у дикарей не было лодки и, следовательно, уехать они не могли, а если им позволить бродить по острову, они, без сомнения, откроют жилье, и тогда колонисты все равно пропали. Поэтому они вернулись через некоторое время и, застав дикарей попрежнему спящими, решили разбудить их и взять в плен. Так и сделали и отвели пленных, к счастью, не в замок, а сначала на мою дачу, потом в жилище двух англичан. Здесь их приставили к делу, хотя делать им, собственно, было почти нечего, и уж не знаю, по небрежности ли сторожей, или потому, что они думали, что дикарям все равно некуда деваться и они сами не уйдут, но только один из них убежал, скрылся в лесу, и больше о нем не слышали.

Было большое основание думать, что он вскоре вернулся домой, ибо недели три спустя после его бегства на остров опять приезжали дикари,

попиروвали два дня и уехали; должно быть, и он уехал вместе с ними. Эта мысль страшно пугала их; они думали, и не без основания, что, если беглец благополучно возвратился домой к своим, он, конечно, рассказал им, что на острове есть люди и что этих людей мало и, значит, они слабы, хотя, к счастью, ему никогда не говорили, сколько всех колонистов, не стреляли при нем из ружей и не показывали укромных мест, вроде моей пещеры.

Вскоре явилось и доказательство тому, что вышло именно так, как они предполагали: около двух месяцев спустя, с час после восхода солнца, шесть индейских пирог; в которых сидели по семи, восьми и даже десяти человек в каждой, подъехали на веслах к северному берегу острова, где они раньше никогда не приставали, и высадились приблизительно за милю от жилища двух англичан, где помещался беглец.

Колонисты страшно перепугались, спрятали в укромном месте своих жен и пожитки и велели невольнику, случайно в это время, зашедшему к ним, — одному из трех, приехавших вместе с женщинами, — бежать со всех ног к испанцам, поднять тревогу и просить скорой помощи; а сами тем временем, захватив свое оружие и какие у них были боевые снаряды, отступили к тому месту в лесу, где укрылись их жены, и стали ждать.

Они находились довольно далеко от своих хижин, но все же на таком расстоянии, чтобы по возможности видеть, куда направятся дикари.

С пригорка, на котором они стояли, видно было, как небольшое войско дикарей направилось прямо к их жилищу, и через минуту их хижины и скирды запылали, к великому их ужасу и отчаянию — потеря была очень велика и даже невознагражима, по крайней мере, в течение некоторого времени. Немного погодя, индейцы, как дикие звери, рассыпались по плантации, все разоряя и обшаривая все утолки, в поисках добычи и, главное, людей, о существовании которых они, повидимому, были хорошо осведомлены.

Англичане видя это, сочли за лучшее отойти на полмили дальше, полагая, что для них выгоднее, чтобы дикари рассеялись в равные стороны, разбившись на отдельные маленькие кучки. Теперь они остановились в самой чаще леса, где забрались в дупло огромного старого дерева и стали ждать, что будет дальше. Не успели они залезть туда, как увидели, что прямо на них бегут двое дикарей, а немного подальше еще трое, потом пятеро, и все в одну сторону; кроме того, вдали они увидели человек восемь бежавших в другом направлении; словом, дикари рыскали по всему лесу, как охотники за дичью.

Бедняки были в большом затруднении, как поступить: оставаться ли в дупле или бежать, но долго думать было некогда: дикари, разбредясь по

лесу, легко могли открыть убежище, где были спрятаны их семьи, и, если помощь не подоспеет, тогда все пропало; поэтому они решили остановить врагов, а если их набегит слишком много, вскарабкаться на дерево и стрелять по ним сверху; они были уверены, что так они продержатся, пока хватит снарядов, если только дикари не подожгут дерево снизу.

Далее они стали обсуждать, стрелять ли им в двух дикарей, бегущих впереди или подождать следующих трех и таким образом напасть на среднюю партию, разъединив группы из двух и пяти человек, и решили первых двух пропустить, если только они сами не заметят их и не нападут на них. Да первые два дикаря и сами свернули в сторону; зато вторая кучка и третья бежали прямо к дереву, словно зная, что там англичане.

Когда дикари подбежали ближе, наши разглядели, что один из них и есть беглый невольник, и решили во что бы то ни стало убить его, хотя бы для этого пришлось стрелять им обоим: один выстрелил, а другой уже нацелился, чтобы, в случае, если дикарь не упадет от первого выстрела, свалить его вторым.

Но первый англичанин был слишком хороший стрелок, чтобы промахнуться, а так как дикари бежали гуськом и близко друг к другу, то его выстрел задел сразу двоих первый был убит наповал, пуля угодила ему в голову; второй беглец тоже упал, раненный на вылет, но не мертвый; третьему оцарапало плечо, может быть, той самой пулей, которая прошла через тело второго. Этот страшно перепугался, хотя был задет слегка, и сел на землю, издавая пронзительные вопли и стоны.

Пятеро, бежавшие позади, скорее испугавшись выстрелов, чем почуяв опасность, сначала остановились, как вкопанные, — надо сказать что в лесу гулкое эхо, перекатываясь, разносит звук далеко кругом, и он кажется гораздо громче, чем есть в действительности.

К тому же, выстрел переполошил множество птиц, которые с криками стали носиться взад и вперед, совсем как в момент моего первого выстрела, когда на острове впервые раздался этот звук.

Когда же все опять смолкло, дикари, не зная, что это было, и ничего не опасаясь, подошли к тому месту, где лежали их товарищи. Бедные невежественные создания не подозревали, что и им грозит та же участь, и потому столпились все возле раненого; очевидно, спрашивая, что такое с ним приключилось

Тем временем первый англичанин успел снова зарядить свое ружье, и оба, видя, что неприятель в их власти, решили стрелять разом, сговорившись предварительно, кому в кого целить. Грянули выстрелы и четверо дикарей, убитые или тяжело раненные, упали, да пятый, вовсе не

задетый, но перепуганный до смерти, повалился на землю вместе с остальными.

Думая, что все враги перебиты, наши смело вылезли из дупла, не зарядив ружей — что было большой ошибкой с их стороны — и, придя на место, не без удивления увидели, что целых четверо живы и из них двое ранены очень легко, а третий совсем не ранен. Тут уж им пришлось пустить в ход приклады; прежде всего они добились беглого невольника, бывшего причиной всей этой напасти, потом другого, раненного в колено, положив конец его страданиям. А тот, который вовсе не был ранен, бросился на колени и, протягивая к ним руки, с жалобными стонами, жестами и знаками умолял пощадить его жизнь.

Ему знаком указали сесть на землю возле соседнего дерева, и один из англичан веревкой, случайно оказавшейся у него в кармане, крепко скрутил ему ноги и руки за спиной и привязал его к дереву; затем они оставили его и, что было силы, побежали в погоню за первыми двумя дикарями, боясь, как бы эта или какая-нибудь другая партия не добралась до укромного местечка в лесу, где были спрятаны их жены и немногие их пожитки. Раз они увидели двух дикарей, но только издали: зато видели, как эти дикари бежали через равнину к морю, совсем в противоположную сторону. Обрадовавшись этому, они вернулись к дереву, где оставили пленника, но уже не нашли его, а веревка, которой он был связан, лежала у подножия дерева: должно быть его освободили товарищи.

Тут они опять пришли в недоумение, не зная, как близок от них неприятель и как велики его силы, и решили сходить в то место, где были спрятаны их жены, и узнать, все ли там благополучно. Оказалось, что дикари были в этой части леса и даже очень близко от убежища, но не нашли его, и, действительно, оно было почти недоступно; деревья росли здесь такою чащей, что только знающий человек мог найти в ней дорогу. Все обстояло благополучно, только женщины, знавшие о жестокости дикарей, были страшно перепуганы.

Здесь англичане дождались испанцев, явившихся к ним на помощь, в количестве семи человек; другие десять, со слугами и старым Пятницей, т.е. отцом Пятницы, пошли целым скопом защищать свою дачу и находящиеся при ней поля и скот, но дикари не забрались так далеко вглубь острова. С семьей испанцами был еще один из дикарей-невольников, взятых ими в плен после сражения двух враждебных племен на острове, и тот дикарь, которого англичане привязали за руки и за ноги к дереву; испанцы шли мимо и, увидав семь человек убитых, развязали восьмого и привели его с собой.

Впрочем, они были принуждены снова связать его посадить вместе с двумя товарищами беглеца в дальнюю пещеру под присмотром двух испанцев.

Двое англичан теперь набрались такой храбрости, что не могли усидеть на месте, но, взяв с собой пятерых испанцев и вооружившись четырьмя мушкетами, пистолетом и двумя толстыми дубинами, отправились разыскивать дикарей.

Прежде всего они пошли к тому дереву, возле которого происходило побоище. Здесь, очевидно, уже побывала новая партия дикарей: они пытались унести трупы и два из них оттащили довольно далеко, но потом бросили. Отсюда наши пошли на пригорок, с которого раньше смотрели, как дикари разоряли их хижины и поля; над пожарищем и теперь еще был виден дым. Отсюда они решили идти на плантацию, но, еще не доходя до нее, увидели море и дикарей, садившихся в лодки; им так и не удалось угостить уезжающих прощальным залпом.

Бедные англичане были теперь совершенно разорены; все их труды пропали даром. Однако остальные колонисты согласились помочь им отстроиться и снабдить их всем необходимым. Даже их земляки, до тех пор не обнаруживавшие никаких добрых побуждений, узнав об их несчастье, немедленно предложили свою помощь и содействие, усердно работали на постройке и вообще отнеслись к ним очень дружелюбно. Таким образом, бедняки в скором времени вновь стали на ноги.

С полгода прошло спокойно; затем однажды утром к острову подъехал целый флот: двадцать восемь лодок, битком набитых дикарями с луками, стрелами, палицами, деревянными мечами и тому подобным оружием; и всего этого они навезли такое множество, что повергли в ужас наших колонистов. Так как дикари высадились на берег вечером и притом в самой отдаленной восточной части острова, то наши могли посвятить целую ночь обсуждению вопроса, как встретить неприятеля. Зная, что наилучшей гарантией безопасности является уничтожение всех видимых следов своего присутствия на острове, они порешили прежде всего снести недавно отстроенные хижины двух англичан и угнать коз в дальнюю пещеру. Ибо колонисты были уверены, что дикари с рассветом направятся прямо туда на охоту за старой дичью, хотя теперь они высадились не менее чем в шести милях от плантации англичан.

Как они предполагали, так и случилось: дикари направились прямо к плантации двух англичан, их было, — насколько наши могли судить, — около двухсот пятидесяти человек. Наших было, в сравнении с ними, страшно мало, и, что хуже всего, у них даже и на это маленькое войско не

хватало оружия.

Их было всего, не считая женщин:

испанцев — 17

англичан — 5

старый дикарь, отец Пятницы — 1

невольников, приехавших вместе с женщинами (люди испытанной верности) — 3

других невольников, взятых в плен и живших вместе с испанцами — 3

Итого — 29

А оружия у них было:

мушкетов — 17

пистолетов — 5

охотничьих ружей — 1

мушкетов или охотничьих ружей, отнятых мною у взбунтовавшихся моряков — 5

сабель — 2

старых алебард — 3

Итого — 29

На невольников не хватило ружей, пришлось дать им по алебарде — длинной палке, вроде дубинки, с двумя железными наконечниками — и по топору: и наши все, помимо ружей, вооружились топорами. Из женщин две умоляли, чтобы им позволили тоже сражаться; им дали луки и стрелы, захваченные испанцами после первой битвы двух индейских племен между собою.

Командовал войском набольший испанец, а его помощником был Вильям Аткинс, человек свирепый и жестокий, но зато смелый до дерзости. Дикари наступали, как львы, и у наших не было решительно никаких преимуществ перед ними даже в смысле позиции, что было всего хуже, если не считать того, что Вилль Аткинс, оказавшийся весьма полезным человеком, засел с шестью человеками в маленькой рожице, в качестве авангарда, он и его люди получили приказ, пропустив первую партию дикарей, стрелять в самую толпу, а затем, дав залп, отступить в обход лесом и зайти в тыл испанцам, тоже залегшим в чаще.

Дикари рассыпались в разные стороны отдельными кучками, не соблюдая никакого порядка. Вилль Аткинс пропустил мимо себя человек пятьдесят, затем, видя, что остальные идут густой толпой, приказал троим из своих людей стрелять; мушкеты их были заряжены шестью-семью пулями каждый, такими же большими, как пистолетные. Сколько человек они убили или ранили, разобрать было трудно и еще труднее описать ужас

и удивление дикарей: они перепугались до последней степени, слыша грохот выстрелов и видя, что их товарищи падают замертво, а иные ранены, и не понимая, откуда на них свалилась беда. Не успели они опомниться, как Вилль Аткинс с другими тремя дали еще залп в самую гущу: а тем временем первые снова зарядили свои ружья и, немного погодя, дали третий залп.

Если бы Вилль Аткинс после этого тотчас же отступил со своими людьми, а другая партия наших была тут же и могла бы стрелять непрерывно, дикари, наверное, обратились бы в бегство, ибо страх их происходил главным образом от того, что они не видели, кто в них стреляет, и воображали, будто сами боги казнят их громом и молнией. Но пока вторая смена с Аткинсом во главе заряжала ружья, дым рассеялся, и дикари поняли свою ошибку; а часть их, высмотрев, где скрывались белые, зашли с тылу, ранили самого Аткинса и убили своими стрелами одного из бывших с ним англичан; позже был убит еще один испанец и один из индейцев невольников, приехавших вместе с женщинами. Теснимый таким образом, наш авангард отступил дальше в лес, вверх по склону холма; испанцы, дав три залпа по неприятелю, также отступили; ибо дикарей было такое множество, что, хотя человек пятьдесят их было убито и столько же, если не больше, ранено, они лезли прямо на наших, презирая опасность, и осыпали их тучами стрел. Следует заметить, что их раненые — если они не были выведены из строя — сражались с особенным ожесточением, как бешеные.

Отступив, наши оставили убитых испанца и англичанина на поле сражения. Дикари самым варварским образом изуродовали трупы палицами и деревянными мечами. Они не преследовали отступавших, но, собравшись в кружок, — таков, повидимому, их обычай — дважды огласили воздух победными криками.

Когда испанец-главнокомандующий собрал весь отряд на возвышенности, Аткинс, несмотря на свою рану, настаивал на том, чтобы теперь, когда англичане соединились с испанцами, они все вместе двинулись дальше и напали на дикарей. Но испанец сказал; «Вы видите, сеньор Аткинс, как дерутся их раненые — не хуже здоровых; подождем до завтра; к завтраму они ослабеют от потери крови и боли; тогда у нас будет меньше врагов». Совет был хорош, но Вилль Аткинс весело возразил: «Это правда, сеньор, они ослабеют, но ведь и я ослаблен, оттого я и хочу драться, пока не остыл». «Полноте, сеньор Аткинс, вы уже доказали свою храбрость; вы свое дело сделали; теперь мы будем сражаться за вас; а все-таки, по-моему, лучше подождать до утра». Так они и сделали.

Но так как ночь была светлая, лунная, а дикари рассыпались во все стороны, хлопоча около своих мертвых и раненных, спеша унести одних и помочь другим, наши потом изменили решение и постановили напасть ночью. Один из двух англичан, возле поселка которых начался бой, повел их в обход лесом и берегом; сначала они шли к западу, потом круто повернули на юг и так бесшумно подкрались к тому месту, где залегла самая густая толпа дикарей, что прежде, чем те их увидели или услышали, восемь человек наших уже дали залп, произведший страшные опустошения. Полминуты спустя другие восемь человек дали еще залп, которым снова множество дикарей были убиты и ранены; при этом они не видели, где неприятель и в какую сторону надо бежать.

Испанцы поспешили вновь зарядить свои ружья; затем наши разбились на три отряда, чтобы напасть на неприятеля разом с трех сторон. Дикари, слыша выстрелы отовсюду, сбились все в кучу, в полном смятении; они бы сами стали стрелять из луков, если б видели куда, но наши, не дав им опомниться, дали еще три залпа, потом врезались в самую гущу и стали бить их ружейными прикладами, саблями, дубинками и топорами, и так хорошо их угостили, что те с оглушительным криком и воем кинулись спасать свою жизнь — кто куда.

Наши были жестоко утомлены — и неудивительно: в двух схватках они убили или смертельно ранили более ста восьмидесяти дикарей. Остальные, обезумевшие от испуга, мчались через лес и холмы так быстро, как только могли нести их резвые ноги, привычные к бегу, и все разом прибежали на берег моря, где они высадились и где стояли их челноки. Но с моря дул сильный ветер, так что пуститься сейчас же в обратный путь было немислимо. Кроме того, сильным прибоем челноки вынесло так далеко на берег, что спустить их вновь на воду можно было лишь с величайшим трудом; некоторые из них даже разбились в куски о берег или друг о друга.

Наши, хотя и рады были победе, не дали себе отдыха в эту ночь, подкрепившись немного, они направились в ту часть острова куда бежали дикари. Дойдя до места, где залегли остатки разбитой армии, они увидели еще около сотни диких; большинство их сидело на земле, скорчившись положив руки на колени и голову на руки, так что колени их касались подбородка

Когда наши были на расстоянии двух ружейных выстрелов, испанец приказал дать два холостых выстрела — для пробы, чтобы посмотреть, как настроены дикари готовы ли еще драться или же до того убиты и удручены своим поражением, что совсем упали духом, — и сообразно этому

действовать.

Хитрость удалась; заслышав выстрелы, дикари повскакали на ноги в страшном смятении, и, как только наши показались из-за деревьев, они с криком и воем бросились бежать и скоро скрылись из виду за холмами

Наши вначале досадовали, что погода не позволяет дикарям сесть в лодки и уехать, опасаясь, как бы те не рассыпались по острову и не стали разорять их плантаций и разгонять коз, но Виль Аткинс оказался предусмотрительнее других и дал добрый совет — воспользоваться выгодами своего положения, отрезать дикарей от лодок и лишить их возможности когда бы то ни было вернуться на остров. Он говорил, что лучше иметь дело с сотней людей, чем с сотней племен, и что необходимо не только уничтожить лодки, но и перебить дикарей, иначе те их самих истребят. Его доводы были так убедительны, что все согласилось с ним и принялись сначала за лодки. Набрав целую кучу хворосту, наши стали поджигать их, но дерево так намокло, что не хотело гореть. Тем не менее, верхние части обуглились, и лодки уже не годились для плавания по морю. Когда индейцы увидели, что делают наши, некоторые из них выбежали из лесу и, приблизившись к нашим, упали на колени, стали кричать: «Оа, оа, Варамока» и другие непонятные слова и жестами умоляли пощадить их лодки и дать им уехать с тем, чтобы уже никогда не возвращаться.

Но наши уже убедились, что им нет иного способа спастись самим и спасти колонию, как именно не дать дикарям вернуться. А потому, предупредив дикарей, что пощады не будет, они снова принялись за лодки и разрушили их все, кроме тех, которые еще раньше были разбиты бурей. Увидав это, дикари в лесу издали такой громкий и страшный крик, что наши слышали его совершенно явственно, и, как безумные, заметались по острову.

При всем своем благоразумии, испанцы не сообразили, что, приводя в такое отчаяние дикарей, им следовало в то же время хорошенько стеречь свои плантации. Правда, дикари не добрались до главных убежищ, т.е. старого замка у холма и дальней пещеры, но все же отыскивали мою дачу и все крутом опустошили — повыдергали колья из изгороди и молодые деревца, вытоптали поля, оборвали весь виноград, уже совершенно зрелый, — словом, причинили нашим огромные убытки, без всякой пользы для самих себя.

Наши готовы были сражаться с дикарями при всяких условиях, но преследовать их не могли, даже когда они попадались в одиночку: во-первых, дикари слишком быстро бегают для того, чтобы их можно было догнать, во вторых, наши боялись пуститься в погоню за которымнибудь

одним, чтобы их в это время не окружили с тылу другие.

Обсудив свое положение, наши первым делом решили, если возможно будет, загнать дикарей в самый дальний угол острова, юго-восточный, для того, чтобы, если на берег высадутся еще дикари, они не могли найти друг друга; а затем ежедневно охотиться за ними и убивать их, по сколько придется, чтобы уменьшить их число, и, наконец, если удастся, приручить их, дать им зерна, научить возделывать землю и жить своим трудом.

Для достижения этой цели наши стали преследовать дикарей и так запугали их, что через несколько дней стоило кому либо из них выстрелить из ружья в индейца, как тот, даже и не раненный, валился на землю от страха. Они так смертельно боялись белых, которые каждый день охотились за ними и почти каждый день кого-нибудь убивали или ранили, что уходили все дальше и дальше, скрывались в лесах и лощинах и страшно бедствовали от недостатка пищи; многих потом находили мертвыми в лесу, без малейших повреждений на теле, они погибли просто с голоду.

Узнав об этом, наши смягчились и прониклись к ним жалостью, особенно наибольший испанец — удивительно добрый и великодушный человек, другого такого я не встречал; — и вот он предложил, если возможно будет, захватить которогонибудь из индейцев живым и объяснить ему намерение белых по отношению к нему и его единоплеменникам, так чтобы он мог служить переводчиком; а затем попытаться поставить дикарей в такие условия, чтобы они и сами могли жить и нам не вредили.

Долго никто из индейцев не попадался, но, наконец, одного, ослабевшего и еле живого от голода, удалось захватить в плен. К нему направили старого Пятницу (т.е. отца Пятницы). и тот объяснил ему, что белые хотят оказать им милость и не только пощадить их жизнь, но и дать им кусок земли, зерна на посев и хлеба для пропитания, под условием, что они, с своей стороны, обязуются не выходить из отведенных им пределов, не приближаться к владениям белых и не вредить им. Старый Пятница велел индейцу вернуться к своим единоплеменникам и переговорить с ними, предупредив, что, если они не согласятся, их всех перебьют.

Бедняки, совершенно присмирившие — да и оставалось их немного, всего около двадцати семи человек — согласились с первого слова и попросили дать им поесть чего-нибудь. Тогда двенадцать испанцев и двое англичан, вооружившись и взяв с собой трех индейцев-невольников и старого Пятницу, отправились к ним. Три индейца невольника снесли им большой запас хлеба и вареного рису, высушенного на солнце; и кроме того отвели к ним трех коз. Затем им было велено отойти на склон холма, где

они уселись на землю и с благодарностью уничтожили данную им провизию. Впоследствии дикари эти свято держали свое обещание и никогда не приближались к жилью белых, за исключением тех случаев, когда приходили просить съестных припасов или указаний. Так они и жили на своем участке, когда я приехал на остров и посетил их.

Их научили сеять и жать, печь хлеба, приручать и доить коз; теперь им не хватало только жен, чтобы разрастись в целое племя. Наши научили их делать деревянные заступы — вроде того, какой я себе сделал, дали им дюжину топоров и три или четыре ножа; все они оказались удивительно кроткими и наивными, как малые дети.

С этих пор и до моего приезда, т.е. в течение двух лет, дикари совершенно не тревожили нашей колонии. Правда, время от времени к берегу подъезжало несколько челноков, и дикари справляли на берегу свои бесчеловечные праздники; но, так как они принадлежали к различным племенам и может быть даже не слыхивали о том, что сюда приезжало большое войско, и о том, зачем оно сюда приезжало, — то и не разыскивали своих земляков, да если бы и стали разыскивать, найти их было не так то легко.

Итак, я дал, как мне окажется, полный отчет обо всем, что случилось на острове до моего возвращения, по крайней мере, обо всем заслуживающем внимания.

Дикари, или индейцы, очень скоро цивилизовались под влиянием колонистов, и последние часто посещали их, но индейцам под страхом смерти был запрещен вход во владения белых; они боялись, как бы те снова не предали их. Замечательно, что дикари оказались наиболее искусными по части плетения корзин и скоро превзошли своих учителей.

Мой приезд очень облегчил положение дикарей, ибо я снабдил их ножами, ножницами, заступами, лопатами, кирками и всякими нужными для них орудиями. С помощью этих орудий они изловчились устроить очень красивые хижины или дома, обнесенные крутом плетнем или же с плетеными, как у корзин, стенами. Это было очень остроумно, и хотя постройки имели странный вид, но служили прекрасной защитой как от жары, так и от всяких зверей и насекомых. И наши были так довольны этими хижинами, что приглашали к себе дикарей и приказывали выстроить для себя такие же. Когда я отправился посмотреть английские поселки, то мне издали показалось, что передо много большие пчелиные ульи. А Вилль Аткинс, сделавшийся теперь очень работающим, полезным и трезвым малым, выстроил себе такую плетеную хижину, какой, я думаю, и не бывало на свете. Этот человек обнаружил вообще большую

изобретательность даже в таких вещах, о которых он раньше не имел никакого понятия: он сам устроил себе кузницу, с двумя деревянными мехами для раздувания огня, сам нажег себе угля для кузницы и сделал из железного лома наковальню. При помощи этих приспособлений он выковал много различных вещей: особенно крючков, гвоздей, скоб, болтов и петель. Никто в мире не видел должно быть таких прекрасных плетеных построек, какие были у него. В этом огромном пчелином улье жили три семьи: Вилль Аткинс, его товарищ и жена убитого третьего англичанина с тремя детьми (третьим она была беременна, когда погиб ее муж). Товарищи ее мужа охотно делились с нею хлебом, молоком, виноградом, а также дикими козлятами и черепахами, если им случалось убить или найти их. Так все они жили согласно, хотя и не в таком достатке, как семьи двух других англичан, как было уже упомянуто мною.

Что касается религии, то я не знаю, право было ли у них что либо подобное, хотя они часто напоминали друг другу о существовании бога очень распространенным у моряков способом, т.е. клянясь его именем. И их бедные, невежественные дикарки-жены немного выиграли от того, что были замужем за христианами, как мы должны их называть. Они и сами очень мало знали о боге и потому были совершенно неспособны беседовать со своими женами о боге и вообще о религии.

Чему жены действительно научились от них, так это сносно говорить по английски, и все их дети, которых было в общем около двадцати, с самых ранних лет начинали говорить по английски, хотя в первое время и говорили ломаным языком, подобно своим матерям. Во время моего приезда на остров старшим из этих ребят было лет по шести. Матери их были рассудительные, спокойные, работающие женщины, скромные и учтивые; они охотно помогали друг другу, были очень внимательны к своим господам — не решаюсь назвать их мужьями — и покорны им. Оставалось только просветить их светом христианской веры и узаконить их браки.

Рассказав о колонии вообще и о пяти англичанах-бунтарях, в частности, я должен теперь сказать несколько слов об испанцах, которые составляли ядро всей этой семьи и в жизни которых тоже было много достопримечательных событий.

Я часто беседовал с ними о том, как им жилось у дикарей. Они признавались мне, что за все время плена они ни в чем не проявили находчивости и изобретательности; что в плену они представляли собой горсть бедных, несчастных отверженцев, и, если бы даже у них явилась возможность улучшать свое положение, они не сумели бы им

воспользоваться, ибо они до такой степени предали себя отчаянию и так ослабели духом под гнетом своих несчастий, что не ждали уже ничего, кроме голодной смерти. Один из них, серьезный и умный человек, сказал мне, что теперь он убедился в своей неправоте и понял, что людям мудрым не подобает предаваться отчаянию и всегда нужно обращаться к помощи разума для облегчения настоящего и обеспечения лучшего будущего. Он сказал мне, что уныние есть самое безрассудное чувство, ибо оно направлено на прошлое, которого невозможно ни вернуть, ни поправить, и пренебрегает будущим, убивает охоту искать улучшения нашей участи. Тут он привел одну испанскую поговорку, которую можно перевести так: «сокрушаться в горе значит увеличивать его вдвое».

Он восхищался моим трудолюбием и изобретательностью, проявленной мной в положении, казалось, безвыходном, заметив, что по его наблюдениям англичане обнаруживают в затруднительных случаях несравненно больше присутствия духа, чем какая либо другая нация. Зато его несчастные соотечественники, да еще португальцы, совершенно не приспособлены к борьбе с невзгодами, ибо при всякой опасности, после первого же усилия, если оно закончилось неудачей, они тотчас же падают духом, приходят в отчаяние и гибнут, вместо того, чтобы собраться с мыслями и придумать способ избавиться от опасности.

Тяжело было даже слушать их рассказы об испытанных ими бедствиях. Иногда они по нескольку дней сидели без пищи, так как на острове, где они находились, население вело чрезвычайно праздный образ жизни и потому было гораздо меньше обеспечено необходимыми средствами к жизни, чем другие племена в этой части света. Тем не менее эти дикари были менее хищными и прожорливыми, чем те, у которых было больше пищи.

Затем они рассказали мне, как дикари потребовали, чтобы пленники вместе с ними ходили на войну. Но, не имея пороха и пуль, они оказались на поле сражения в еще худшем положении, чем сами дикари, так как у них не было луков и стрел, а если дикари снабжали их луками, то они не умели пользоваться ими, так что им оставалось только стоять и подставлять свое тело под стрелы врагов до тех пор, пока дело не доходило до рукопашной.

Тогда испанцы пускали в ход алебарды и пики, которыми служили у них заостренные палки, вставленные в дула ружей; иногда им удавалось обращать в бегство этим оружием целые армии дикарей.

С течением времени они научились делать из дерева большие щиты, которые обтягивали шкурами диких зверей и закрывались этими щитами от стрел дикарей. Несмотря на это, иногда они подвергались большой

опасности. Однажды пятеро из них были сбиты с ног дубинами дикарей, один при этом взят в плен. Это был тот испанец, которого я выручил. Сначала они считали его убитым, но когда узнали, что он взят в плен, были крайне опечалены этим и охотно готовы были пожертвовать своей жизнью, лишь бы освободить его.

Они очень трогательно описывали, как они были обрадованы возвращением их приятеля и собрата по невзгодам, которого считали съеденным кровожадными дикарями, и как были поражены, увидав присланные мною съестные припасы и хлеб, которого они не видывали с тех пор, как попали в это проклятое место. Они говорили, что им очень хотелось бы выразить свою радость при виде лодки и людей, готовых отвезти их к тому человеку и в то место, откуда им были присланы все эти припасы, но что ее невозможно описать словами, ибо их восторг выражался в таких диких и бурных формах, что граничил с сумасшествием. Я вспомнил о восторгах Пятницы при встрече с отцом, о восторгах спасенного мной экипажа горевшего судна, о радости капитана корабля, освобожденного на необитаемом острове, где он рассчитывал найти гибель; вспомнил свою собственную радость при освобождении из 28-летнего заключения на острове. Все это еще больше расположило меня к беднякам и внушило еще больше сочувствия к их невзгодам.

Подробно изложив положение дел на острове, я теперь должен вкратце рассказать о том, что я сделал для его обитателей и в каком состоянии оставил этих людей. Я вступил в серьезный разговор с испанцем, которого я считал наибольшим, относительно их пребывания на острове. Я заявил ему, что приехал для того, чтобы устроить их, а не для того, чтобы выселить, что привез с собой много различных вещей для них, что я постараюсь снабдить их всем необходимым по части жизненных удобств и самозащиты и что, кроме того, со мной приехало несколько человек, которые согласны войти в их семью и, в качестве ремесленников, могут оказать им немало услуг, снабдив их как раз теми вещами, в каких у них до сих пор чувствовался недостаток. Для этого разговора я собрал их всех вместе и, прежде чем вручить им привезенные мною вещи, спрашивал каждого по одиночке, забыли ли они свои первоначальные раздоры и могут ли, пожав друг другу руку, вступить в тесную дружбу в сознании общих интересов, так чтобы не было больше ни недоразумений, ни зависти.

Вильям Аткинс искренно и добродушно возразил, что у них было слишком достаточно испытаний, чтобы отрезвиться, и слишком много общих врагов, чтобы сделаться друзьями. За себя лично он может заявить, что ему очень хотелось бы жить со всеми в мире и дружбе, и он готов на

все, чтобы убедить в этом других. Что же касается возвращения в Англию, то он и не думает о том, и ему все равно, хоть еще двадцать лет не ездить туда.

Испанцы же заявили, что хотя они обезоружили и исключили из своей среды Вильяма Аткинса и двух его земляков за дурное поведение, но он так храбро сражался в большой битве с дикарями и еще во многих других случаях выказал столько усердия и преданности общим интересам, что они забыли о прошлом. По их мнению, он столь же достоин чести носить оружие, как и все другие, и вполне заслужил, чтобы я наравне с другими снабдил его всем необходимым. Сами они уже выразили ему свою признательность тем, что избрали его помощником наибольшего испанца, правителя острова. И так как они питают доверие к нему и его землякам, то они рады случаю заявить, что они ни в чем не хотят обособляться и что у них интересы общие.

После этих искренних и открытых изъявлений дружеских чувств, мы решили на следующий день пообедать всем вместе и устроить роскошный пир, за которым от души предавались невинному веселью. Я распаковал привезенные мною вещи, — полотно, сукно, башмаки, чулки, шляпы, — и, во избежание споров при разделе, показал, что их хватит на всех. Затем, распределив все это между присутствующими, я представил им привезенных мною людей, особенно портного, кузнеца и двух плотников, нужда в которых очень чувствовалась в колонии, и прежде всего своего «мастера на все руки», который был им как нельзя более кстати. Портной, в доказательство своей готовности быть полезным колонистам, тотчас же принялся за работу и первым делом сшил каждому по рубашке. Сверх того, он не только выучил женщин владеть иглой, шить и стегать, но также заставил их помогать шить рубашки для их мужей и всех прочих. Плотники же разобрали на части грубую, неуклюжую деревянную мебель, сделанную мною, и превратили ее в хорошие столы, табуретки, кровати, шкафы, поставцы для посуды, полки и всякие другие нужные вещи.

После этого я вынул весь свой запас инструментов и дал каждому по заступу, лопате и граблям (борон и плугов у нас не было) и каждому поселку по кирке, лому, плотничьему топору и пиле, объявив, что, в случае порчи или поломки, все эти орудия должны быть без проволочки заменены новыми из оставленного мною запаса. Гвозди, скобы, крючки, долота, ножи, ножницы и всякого рода инструменты и железные вещи должны быть выдаваемы по мере надобности без какого ограничения. А для кузнеца я оставил про запас две тонны недоработанного железа.

Привезенный мною запас пороха и оружия был так велик, что

поселенцы могли только прийти в восторг. Теперь они имели возможность разгуливать, в случае надобности, с двумя ружьями за плечами, как это делывал я, и сражаться хоть с тысячью дикарей, лишь бы только им удалось занять скольконибудь выгодную позицию, что опять-таки не представляло особенных затруднений.

Я взял с собою на берег юношу, мать которого умерла с голоду, и служанку. Это была опрятная, благовоспитанная и благочестивая девушка; она держала себя так мило, что и с нею все были ласковы, и каждый старался сказать ей ласковое слово. Спустя некоторое время, видя, что на острове все устраивается так хорошо и что он находится на пути к процветанию, и приняв во внимание, что у них нет ни дел, ни связей в Ост-Индии и что для них не имеет никакого смысла пускаться в столь дальнее путешествие, оба они попросили у меня разрешения остаться на острове и войти в мою семью, как они выражались.

Я охотно согласился на это. Им отвели небольшой участок земли, на котором они выстроили три шалаша или хижины, оплетенных вокруг и огороженных палисадами, на подобие хижин Аткинса, плантация которого прилегала к ним. Другие два англичанина перенесли свой поселок в то же место, и остров разделился на три колонии. Первую составлял поселок испанцев, где жили также старый Пятница и первые слуги, на месте моего старого жилища, у подножия холма. Этот поселок был как бы столицей острова. Не знаю, найдется ли где-нибудь на свете другое селение, так же хорошо запрятанное в лесу.

Другую колонию представлял поселок Вилля Аткинса, где жили четверо оставленных мною на острове англичан с их женами и детьми, три диких невольника, вдова и дети убитого англичанина, юноша и служанка, которую еще до нашего отъезда выдали замуж. Тут же находились оба плотника и портной, купец и тот человек, которого я прозвал «мастером на все руки». Он один стоил двадцати человек, ибо он был не только ловким и находчивым, но также и чрезвычайно веселым малым. Перед моим отъездом мы женили его на девушке, которую мы взяли к себе на корабль, вместе с юношей, и о которой я уже говорил.

Раз я уже заговорил о свадьбе, здесь будет к месту упомянуть и о французском священнике сгоревшего корабля, которого я взял с собой. Он был католик, но нужно отдать ему справедливость — это был серьезный, разумный, благочестивый и глубоко верующий человек. Он был строг к самому себе, делал много добра и мог служить во всех отношениях благим примером. Мы условились, что я свезу его в Ост-Индию, и во время пути я с чрезвычайным интересом беседовал с ним. Он рассказал мне о своей

жизни и о приключениях, и его рассказ весьма заинтересовал меня. Особенно любопытно было то, что он пять раз садился на корабль и пять раз должен был пересаживаться и так и не попал в то место, куда направлялись корабли, на которых он ехал.

Но я не хочу уклоняться от предмета, рассказывая истории, не имеющие никакого отношения к моей собственной, и возвращаюсь к положению дел на острове. В один прекрасный день священник пришел ко мне и сообщил с очень серьезным видом, что он уже в течение нескольких дней искал случая переговорить со мной, в надежде, что его намерения до некоторой степени могут способствовать осуществлению главной цели моих стремлений — благоденствию моей новой колонии, и, может быть, будут способствовать тому, чтобы на нее снизошло благословение божие. «Три вещи», сказал он, «по моему препятствуют этому, и мне хотелось бы, чтобы они были устранены. Здесь есть четыре англичанина, которые взяли себе в жены дикарок, не вступая, однако, с ними в законный брак, как этого требуют законы божеские и человеческие, и живут в прелюбодеянии. Я знаю, вы возразите мне на это, — что здесь не было ни священника, ни духовного лица какого-либо вероисповедания, которое могло бы совершить обряд, а также не было перьев, чернил и бумаги, чтобы написать брачный договор и подписать его. Я знаю также, что говорил вам об этом набольший испанец, т.е. какое соглашение состоялось между ними перед выбором жен; я знаю, что они уговорились выбрать каждый одну и только с нею жить. Но все таки это не брак, не договор с женами, взятыми с их согласия, а просто соглашение между мужчинами, во избежание раздоров. Поэтому, когда им вздумается или если представится случай, они могут бросить этих женщин, отречься от своих детей, оставить их на произвол судьбы, взять других женщин и жениться на них при жизни первых. И он, разгорячившись, воскликнул: „Неужели вы думаете, сэр, что такое своеволие и беззаконие может быть угодно богу? И как может благословение божие снизойти на ваши начинания, как бы ни были они хороши сами по себе и как бы ни были искренни ваши добрые намерения, пока вы позволяете этим людям — в настоящее время вашим подданным, находящимся в полной вашей власти и подчинении — открыто совершать прелюбодеяние?“

Чтоб отделаться от слишком ревностного молодого священника, я сказал ему, что все эти браки были заключены без меня, что с тех пор прошло уже много лет и теперь поправлять дело поздно. «Сэр», возразил он, «в этом вы правы — все это произошло в ваше отсутствие, и вы не можете отвечать за них. Но прошу извинения за вольность — умоляю вас, не льстите себя надеждою, что это избавляет вас от обязанности сделать

теперь все зависящее от вас, чтобы положить конец греху. Кто виноват в прошлом, тот за него и ответит, но ответственность за будущее всецело падает на вас, ибо положить этому конец бесспорно в вашей власти, и никто не может этого сделать, кроме вас»

Я понял его в том смысле, что «положить этому конец» значит разлучить англичан с их женами дикарками и не позволить им дольше жить вместе, и сказал, что этого я ни в коем случае не могу сделать, ибо против меня восстанет все население острова. Священник, повидимому, удивился, что я так ложно истолковал его мысль.

— Нет, сэра, — сказал он, — я вовсе не хочу, чтобы вы разлучали их; я только хочу, чтобы вы теперь заставили их вступить в законный и действительный брак. Я мог бы сам их повенчать, и совершенный мною обряд венчания был бы действителен в глазах даже и вашего закона, но, может быть, их трудно будет убедить согласиться на это. Если же вы соедините их — я говорю о письменном договоре, подписанном мужчиной, женщиной и всеми присутствующими свидетелями — этот брак может быть также нерушим и перед богом и перед людьми и будет признан действительным законами всех европейских государств.

Я был поражен, видя в нем столько истинного благочестия и неподдельного рвения, — не говоря уже о необычном беспристрастии, высказанном им в отношении своей собственной церкви, — и такое горячее желание удержаться от нарушения законов божеских людей, не только не близких ему, но даже совершенно незнакомых. Я сказал ему, что по моему все высказанное им справедливо и доказывает в нем большую доброту, что я повидаясь с англичанами и переговорю с ними, но не вижу причины, почему бы им не повенчаться у него; ведь мне известно, что брак, заключенный им, будет считаться в Англии таким же действительным, как если бы обряд венчания совершил один из наших священников.

Затем я попросил его изложить другое обстоятельство, препятствующее благоденствию моей колонии, выразив ему признательность за первое указание. На это он сказал мне, что мри английские подданные, как он называл их, прожив со своими женами семь лет, научили их говорить по английски и даже читать, из чего он заключает, что они женщины способные и понятливые — но до сих пор не дали им никакого понятия о христианской религии, ни даже о том, что существует бог и религия, и как надо служить богу — даже не объяснили им, что идолопоклонство, служение неведомо каким богам — ложная религия и нелепость. Это, по его словам, было с их стороны непростительною небрежностью, за которую они, без сомнения, ответят перед богом и, быть

может, им и не дано будет совершить дело обращения, ибо они показали себя недостойными. Он говорил с большой теплотой и сердечностью. «Я уверен», говорил он, «что, если бы эти люди жили в дикой стране, откуда родом их жены, дикари приложили бы гораздо больше стараний к тому, чтобы обратить их в идолопоклонство и научить их служить дьяволу, чем кто-либо из них, — по крайней мере, насколько я могу судить, — к тому, чтобы научить своих жен познанию истинного бога. А между тем оба мы будем одинаково рады, если слуги дьявола и пребывающие в царстве его постигнут хотя бы главные основы христианской религии — если они, наконец, услышат о боге, об искупителе, о воскресении мертвых и будущей жизни — словом, о том, во что мы оба верим; во всяком случае, они тогда будут ближе к вступлению в лоно истинной церкви, чем теперь, когда они открыто предаются идолопоклонству и служат дьяволу».

Я не мог дольше выдержать и, заключив его в свои объятия, с жаром воскликнул: «Как же я был далек от понимания самых существенных обязанностей христианина, а именно ставить выше всего интересы христианской церкви и спасение души ближнего! Я почти и не знал, что значит быть христианином», «О, сэр, не говорите так; в этом вы не виноваты». «Нет, не виноват, но почему же я не принимал этого так близко к сердцу, как вы?» — „И теперь еще не поздно: не спешите осуждать себя“. „Но что же можно сделать теперь? Вы видите, я уезжаю“. „Даєте вы мне разрешение переговорить с этими бедняками?“ — „Конечно, от всей души, я заставлю их принять к сведению то, что вы им скажете“. „Что касается этого, мы должны предоставить их милосердию нашего спасителя; но наше дело помочь им, ободрить их и научить“.

Тут он перешел к изложению своего третьего упрека. «Все христиане, к какой бы церкви, действительной или мнящей себя церковью, они ни принадлежали, ставят — должны были бы поставить себе за правило, что христианство надо распространять всеми возможными средствами и при всяком возможном случае. Следуя этому правилу, наша церковь шлет миссионеров в Индию, Персию и Китай, и наше духовенство, даже высшее, добровольно предпринимает самые рискованные путешествия и поселяется в самых опасных местностях, среди варваров и убийц, чтобы учить их познанию истинного бога и приводить их в христианскую веру. В настоящее время, сэр, вам предоставляется возможность привести тридцать шесть или даже тридцать семь бедных дикарей-идолопоклонников к познанию истинного бога, их творца и искупителя, и я удивляюсь, как вы можете упускать случай сделать такое доброе дело, на которое стоит положить целую жизнь». Он предоставлял моей совести решить — разве не

стоит рискнуть всем, что мне еще осталось на свете, ради спасения тридцати семи человеческих душ. Я не принимал этого так близко к сердцу, как он, и потому возразил: «Видите ли, сэр, это, конечно, почтенное дело быть орудием божьей воли и способствовать обращению в христианство тридцати семи язычников; но ведь вы духовное лицо и предались душой этому делу, так что оно вам кажется входящим в состав обязанностей, налагаемых на вас вашей профессией; почему вы сами не возьметесь за него, а предлагаете это сделать мне?»

При этих словах он круто повернулся ко мне на ходу и, неожиданно остановившись, отвесил мне низкий поклон, говоря: «От всего сердца благодарю бога и вас, сэр, за такой явный призыв к такому благому и славному делу; если вы слагаете его с себя и предоставляете мне, я принимаю с величайшей готовностью и буду считать это достаточной наградой за все случайности и опасности трудного и рискованного путешествия, которое мне не удалось довести до конца. Но раз вы оказываете мне честь возложить на меня это дело, я имею к вам небольшую просьбу». «Что такое?» спросил я. «Оставьте мне вашего Пятницу, чтобы он помогал мне и переводил им мои слова, ибо без посторонней помощи я не могу говорить с ними, и они со мной».

Эта просьба задела меня за живое; я не мог и подумать о том, чтобы расстаться с Пятницей, — по многим причинам. Он сопровождал меня во всех моих путешествиях; он был не только предан мне, но и сердечно привязан ко мне, и я решил основательно обеспечить его на случай, если он переживет меня, что было весьма вероятно. Далее, я воспитывал Пятницу в духе протестантства, и, если его теперь заставить перейти в католичество, он совсем растеряется; я знал, что он, пока жив, ни за что не поверит, что его старый хозяин еретик и будет осужден на вечные муки; в конце концов это может перевернуть вверх дном все его взгляды и принципы, и бедняк, пожалуй, опять вернется к поклонению идолам. Поэтому я сказал священнику, что мне весьма нежелательно было бы расставаться с Пятницей, тем более, что я обещал никогда не отпускать его от себя и он, с своей стороны, обещал и обязался никогда не покидать меня, если я сам не отошлю его. Священник был этим, повидимому, сильно смущен; действительно, при таких условиях у него не было доступа к этим беднякам, так как он не понимал ни слова из того, что они говорили, а они ни слова из его речей; чтобы устранить это затруднение, я сказал ему, что отец Пятницы знает по-испански — он тоже понимал этот язык — и будет служить ему переводчиком. Это его значительно успокоило, и теперь уже невозможно было разубедить его: он твердо решил остаться на острове и

попытаться обратить дикарей в христианство. Но провидение дало всему этому делу иной и более счастливый оборот.

Возвращаюсь к первому предположению священника. Когда мы пришли к англичанам, я собрал их и стал говорить им о том, какую несправедную и нехристианскую жизнь они ведут, как на это уже обратил внимание прибывший со мной священник, и, первым делом, спросил их, женаты они или холосты. Оказалось, что двое из них были вдовы, а остальные трое холосты. Тогда я спросил, как они решились взять этих женщин и называть их своими женами и прижить с ними столько детей, не будучи на них женаты законным порядком. Все они ответили именно так, как я и ожидал — то есть, что поженить их было некому, что они согласились перед губернатором содержать этих женщин, как своих жен, и полагали, что заключенные ими таким образом брака так же законны, как если бы их венчал священник, с соблюдением всех возможных формальностей.

Я сказал им, что, без сомнения, перед богом эти женщины — их жены и они, по совести, обязаны обращаться с ними, как с женами, но человеческие законы иные и, воспользовавшись этим, они могут впоследствии бросить этих бедных женщин и детей. Далее, я прибавил, что, пока я не буду убежден в честности их намерений, я не могу ничего сделать для них, и если они не дадут мне какого-либо удостоверения в том, что они женятся на этих женщинах, я не считаю возможным позволить им продолжать жить с ними, как мужья и жены.

Как я ожидал, так и вышло: Вилль Аткинс, который, повидимому, говорил от лица остальных, объявил, что они любят своих жен не меньше, чем если бы те были их соотечественницами, и ни в каком случае их не покинут. Священника не было подле меня, но он был неподалеку, и я, чтобы испытать Аткинса, сказал ему, что со мной есть священник, и, если он говорит искренно, этот священник может повенчать его и его товарищей хоть завтра же, и просил его подумать об этом и переговорить с остальными. Аткинс возразил, что ему лично думать нечего, — он хоть сейчас готов венчаться и полагает, что и все остальные скажут то же. На этом мы и расстались: я вернулся к своему священнику, а Вилль Аткинс пошел толковать с земляками. Я не успел еще сойти с их земли, как англичане все вместе прошли ко мне и сказали, что они обсудили мое предложение и очень рады слышать, что при мне есть священник, что они охотно готовы исполнить мое желание венчаться, когда мне будет угодно, так как они вовсе не хотят расставаться с своими женами и брали их с самыми честными намерениями. Я назначил им прийти ко мне на

следующее утро, а до тех пор объяснить своим женам значение брачного обряда, и что его следует выполнить не только ради приличия, но также и для того, чтобы их мужья уже ни под каким видом не могли их покинуть. Женщины легко усвоили себе все это и остались очень довольны; на следующее утро все англичане явились в отведенное мне помещение, где их уже ожидал священник.

Подойдя к ним, он сказал им, что я изложил ему все обстоятельства дела и их теперешнее положение; что он охотно выполнит свою обязанность и повенчает их, как я того желаю; но, прежде чем совершить обряд, просит позволения побеседовать с ними. И он сказал им, что в глазах света и общества жизнь, которую они вели до сих пор, неприлична и греховна и что им необходимо положить ей конец, либо повенчавшись, либо расставшись со своими женами; что он не сомневается в искренности их согласия венчаться, но что тут представляется затруднение, которое он не знает, как устранить. Закон о браках христиан не позволяет лицам христианского вероисповедания вступать в брак с дикарями, идолопоклонниками и язычниками, а между тем теперь остается слишком мало времени для того, чтобы попытаться убедить их жен креститься и принять христианство, тем более, что он сомневается даже, слышали ли они когданибудь о Христе, а без того их крестить невозможно. Он сильно подозревает, что и сами они плохие христиане, мало усердные к своей религии и имеющие весьма слабое представление о боге и путях божиих, и потому нельзя ожидать, чтобы они много беседовали об этом со своими женами до сих пор; но теперь они должны обещать ему приложить все старания к тому, чтобы убедить своих жен принять христианство и, по мере своих сил и возможности, научить их познанию и вере в бога, сотворившего их, и во Христа искупителя; — иначе он не может повенчать их.

Все это они выслушали очень внимательно и сказали мне, что все, что говорил джентльмен, суцая правда, что они, действительно, сами плохие христиане и никогда не говорили с своими женами о религии. «Да и подумайте. сэръ», вставил слово Вилль Аткинс, «как нам учить их религии? Ведь мы сами ничего не Знаем. И потом, если б мы начали говорить с ними о боге и Иисусе Христе, о небе и аде, они бы нас только высмеяли и спросили бы, верим ли во все это мы сами; а скажи мы им, что мы верим во все, о чем говорим, — например, в то, что добрые люди идут на небо, а злые к диаволу, — они бы, конечно, спросили, куда же мы сами намерены попасть — мы, верящие во все это и все-таки остающиеся злыми; ведь они же видят, какие мы. Одного этого довольно, чтобы сразу внушить им

отвращение к религии. Нет, знаете, сэр, надо прежде самому стать религиозным, а потом уже братья учиться друг у друга». «Что же, Аткинс, я думаю, что твои слова справедливы, даже слишком справедливы», оказал я и передал их священнику, который горел нетерпением узнать, в чем дело. «О!» — воскликнул он, «скажите ему, что, если он искренно раскаивается во всем, что он сделал дурного, его жене не нужно лучшего учителя, ибо научить других раскаянию может только тот, кто искренно кается сам. Пусть он только раскается, и тогда он сумеет объяснить своей жене, что есть бог и что он не только справедливый воздаятель за добро и зло, но также существо милосердное, запрещающее мстить за обиды, что он бесконечно добр, долготерпелив и многомилостив и не хочет смерти грешника, но его покаяния и жизни; что он часто долго терпит и попускает злым и даже откладывает осуждение до последнего дня, когда каждому воздается по делам его; что если праведники не получают награды, а грешники кары, пока не перейдут в иной мир, это то и доказывает существование бога и будущей жизни. А от этого он незаметно перейдет к учению о воскресении мертвых и страшном суде. Пусть он только сам раскается, и он будет превосходным учителем для своей жены».

Все это я повторил Аткинсу, который выслушал меня очень серьезно и, как легко можно было заметить, был этим сильно взволнован. «Все это мне было известно и раньше», сказал он, «и еще многое другое, но у меня не хватало бесстыдства проповедывать это своей жене, когда бог и моя совесть знают, что я жил так, как будто никогда не слышал о боге и о будущей жизни; да и жена моя сама была бы свидетельницей против меня. Что уж тут говорить о раскаянии! (Он глубоко вздохнул, и слезы выступили на его глазах). Для меня все кончено!»

Я перевел его ответ священнику слово в слово. Этот добрый благочестивый человек тоже не мог удержаться от слез, но, совладав с собою, сказал мне: «Предложите ему только один вопрос: доволен ли он тем, что ему уже поздно каяться, или же огорчен этим, и желал бы, чтобы это было иначе?» — Я прямо так и опросил Аткинса, и тот с жаром воскликнул: «Разве может человек быть доволен, зная, что ему предстоит вечная гибель?»

Когда я передал все это священнику, он с глубокой грустью на лице покачал головой и, быстро обернувшись ко мне, сказал: «Если так, можете уверить его, что еще не поздно, Христос ниспошлет в его душу раскаяние, а нам, слугам Христовым, заповедано проповедывать милосердие во все времена от имени Христа спасителя всем, кто искренно кается; значит, никогда не поздно раскаяться».

Я все это сказал Аткинсу, и он выслушал меня очень внимательно, но не стал слушать дальнейших речей священника, обращенных к его товарищам, а сказал, что пойдет и поговорит с женой. Говоря с остальными, я заметил, что они были поразительно невежественны по части религии и в этом отношении очень напоминали меня в то время, как я убежал из отцовского дома; однако же никто из них не уклонялся от беседы, и все торжественно обещали переговорить с женами и попытаться убедить их перейти в христианство.

Взяв с них такое обещание, священник тут же повенчал три пары, а Вилль Аткинс с женой все не являлись. Священнику очень хотелось знать, куда девался Аткинс, и он, повернувшись ко мне, сказал: «Умоляю вас, сеньор, пойдите, посмотрим, где они; я уверен, что этот бедняк уже сидит где-нибудь с своей женой и учит ее познанию истинного бога». Мне сдавалось то же, и мы пошли вместе. Я повел его никому, кроме меня, неизвестной тропинкой, через самую чащу леса, откуда сквозь густую листву даже трудно было рассмотреть, что делается снаружи; а уж того, кто находится в этой чаще, и подавно не было видно; и вот, дойдя по этой тропе до опушки, мы увидели Вилля Аткинса с его смуглянкой женой, сидевших под кустом и оживленно между собою беседовавших. Я остановился, подождал священника, который немного отстал, и указал ему на эту парочку; мы долго стояли и смотрели на них. Мы заметили, что он что-то с жаром объясняет жене, указывая то на солнце, то на небо, в разные стороны, потом на землю, потом на море, потом на себя, на нее, на лес, на деревья. «Вы видите», сказал священник, «мои слова не остались втуне; он уже говорит ей о религии — смотрите хорошенько — вот теперь он говорит ей, что бог сотворил и его, и ее, и небо, и землю, море, лес, деревья и т.д.» — «Кажется, что так», подтвердил я. В это время Вилль Аткинс вскочил на ноги, потом упал на колени и поднял обе руки к небу; по всей вероятности, он при этом говорил что-нибудь, но мы не могли расслышать — они были слишком далеко, на коленях он оставался не больше минуты, потом опять сел рядом с женой и заговорил с ней. Мы видели, что женщина слушает очень внимательно, но отвечает ли она что-нибудь сама, этого мы не могли рассмотреть. Когда бедняк стал на колени, я видел, как слезы покатались по щекам священника, и сам едва удержался от слез; но обоим нам было обидно, что мы далеко от них и ничего не слышим из их разговора.

Однако, подойти ближе тоже нельзя было, чтобы не встревожить их, и мы решили досмотреть до конца эту немую беседу, достаточно понятную нам и без слов. Как уже сказано было, Аткинс сел опять рядом с женой и продолжал говорить с большим жаром; раза два или три он горячо обнимал

ее; раз он вынул из кармана платок и отер ей глаза, потом опять поцеловал ее с необычной для него нежностью. Это повторялось несколько раз, затем он опять вскочит на ноги и, подав руку жене, помог ей подняться; потом за руку же отвел ее немного в сторону; потом они оба опустились на колени и оставались так минуты две.

Так продолжалось с четверть часа; затем оба они отошли дальше, так что нам их уже не было видно. Теперь, когда Вилль Аткинс с женой сокрылись из виду, нам здесь больше нечего было делать, и мы тоже пошли обратно своей дорогой; а вернувшись, застали их возле дома ожидающими, когда их позовут. Мы велели Аткинсу войти и стали его расспрашивать. Тут я узнал, что Аткинс был глубоко потрясен словами священника — кстати тут открылось, что он сам был сыном пастора — и привел свою жену к готовности принять христианство. При этом молодая женщина выказала такую искреннюю радость и веру и такое поразительное понимание, что это трудно даже представить себе, не только описать; и, по ее собственной просьбе, она была крещена, а вслед затем священник и повенчал их. По окончании обряда он обратился к Виллю Аткинсу и стал ласково уговаривать его поддержать в себе это доброе расположение душевное и укрепить его твердой решимостью изменить свою жизнь.

Но священник не хотел этим удовольствоваться он все мечтал об обращении тридцати семи дикарей и готов был ради этого остаться на острове; но я отговорил его, доказав ему, во первых, что затея его сама по себе неосуществима, и, во вторых, что, может быть, мне удастся устроить так, чтобы это было сделано в его отсутствии.

Покончив таким образом все дела на острове, я уже собирался вернуться на корабль, когда ко мне пришел юноша с голодавшего корабля, которого я взял с собой на берег, и сообщил мне, что он тоже сосватал одну парочку, и надеется, что я ничего не буду иметь против этого; а так как вступающие в брак оба христиане, то он желал бы воспользоваться тем, что при мне есть священник, и повенчать их теперь же, до моего отъезда. Мне очень любопытно было узнать, что же это за парочка; оказалось, что это мой Джек «на все руки» и его служанка Сусанна решили пожениться. Узнав их имена, я был приятно удивлен: действительно, парочка была, по моему, вполне подходящая. Жениха я уже описывал; что касается невесты, она была честная, скромная, рассудительная и религиозная девушка, весьма неглупая, приятной наружности, с плавной речью, с умением во время и кстати ввернуть словцо, ловкая, домовитая, отличная хозяйка, словно созданная для того, чтобы заправлять всем хозяйством на острове. Мы повенчали их в тот же день. Я был посаженным отцом невесты и отвел ей в

приданое кусок земли на острове. Я отвел также определенные участки остальным колонистам; незанятую же землю объявил своей собственностью. Что касается живших на острове дикарей, то часть их тоже получила участки, а другие стали слугами белых.

Тут мне пришло на память, что я обещал своему другу священнику, попытаться устроить так, чтобы в мое отсутствие наладилось дело обращения дикарей, и сказал ему, что теперь оно, кажется, уже налаживается; дикари рассеяны между христианами и, если каждый из этих последних даст себе труд заняться теми дикарями, которые у него под рукой, я надеюсь, что результаты получатся весьма хорошие. Наши все обязались приложить к этому все старания. Придя в дом Вилля Аткинса, я, не теряя времени на расспросы, сунул руку в карман и вытащил свою библию. «Вот», сказал я Аткинсу, «я принес тебе помощницу, которой у тебя раньше, пожалуй, не было». Он был так поражен, что некоторое время даже не мог говорить, но, оправившись, бережно взял книгу обеими руками и обернулся к жене «Смотри, дорогая, не говорил ли я тебе, что бог, хоть он и на небе, может слышать все, что мы говорим? Вот книга, о которой я молился, когда мы с тобой стояли на коленях под кустом; бог услышал нас и вот — посылает нам эту книгу». И он так искренно радовался и так горячо благодарил бога, что слезы в три ручья катились по его щекам, как у плачущего ребенка. Жена его тоже была поражена и вполне поверила тому, что сам бог послал им эту книгу, по просьбе ее мужа. Правда, в сущности, оно так и было, но в то время я думаю, не трудно было бы убедить бедняжку и в том, что с неба нарочно был послан ангел, чтобы принести эту книгу.

Но вернусь к тому, как я устроил дела на острове. Я не считал за нужное сообщать нашим о шлюпе, который я привез с собою в разобранном виде, — и рассчитывал было оставить им; ибо если бы я собрал и оставил им это судно, они бы, пожалуй, при первом неудовольствии, разделились между собою, и одна часть бы уехала, а другая осталась; или же, быть может, сделались бы пиратами, и мой остров обратился бы в разбойничий притон, вместо того, чтобы быть колонией скромных и благочестивых людей, как я о том мечтал. Не оставил я им также двух медных орудий, захваченных мною на всякий случай, — и других двух пушек со шканцев, — по той же причине. Я находил, что у них вполне достаточно оружия для самообороны и защиты острова против всякого, кто бы ни вздумал напасть на них, но я вовсе не хотел подстрекать их к наступательным действиям и вооружать их для того, чтобы они сами вторгались в чужие владения и нападали на других. А потому я решил

использовать шлюп и орудия для их же выгоды, но иным способом.

Теперь мне больше нечего было делать здесь. Оставив остров в цветущем состоянии и всех наших здоровыми и благополучными, я 5-го мая снова сел на корабль, прогостив у них двадцать пять дней. Так как все колонисты решили дожидаться моего возвращения, то я обещал прислать им из Бразилии, если представится случай, много полезных вещей, например, по нескольку экземпляров скота: баранов, свиней и коров. Взятые мною из Англии две коровы с телятами были убиты в пути за недостатком сена.

На следующий день, салютовав на прощанье островитянам залпом из пяти орудий, мы подняли паруса и через двадцать два дня подошли к заливу Всех Святых в Бразилии, не встретив в пути ничего примечательного, за исключением следующего: на третий день по отбытии, под вечер, в штиль, мы увидели, что море покрыто у берега чем-то черным, но не могли рассмотреть, что это было такое. Через некоторое время, однако, наш боцман поднялся немного по вантам и, посмотревши в подзорную трубу, крикнул, что это войско. Я не мог сообразить, что он подразумевал под словом «войско», и сгоряча обозвал его дураком, или как то в этом роде.

«Не гневайтесь, сударь», сказал он, «это действительно войско и в то же время флот. Там, я думаю, с тысячу лодок. Вы сами можете рассмотреть их; они идут на веслах и быстро приближаются к нам. В лодках куча народу».

Я несколько растерялся. Встревожился и мой племянник, «ибо он слышал о туземцах на острове такие ужасы, что не знал теперь, что и думать. Раза два или три он пробормотал, что нас всех, вероятно, съедят. Должен признаться, что в виду штиля и сильного течения, увлекавшего нас к берегу, я сам ожидал худшего. Но все же я посоветовал ему не робеть и бросить якорь, как только выяснится, что нам придется вступить в бой с дикарями.

Погода оставалась тихой, и дикари быстро приближались к нам. Поэтому я приказал стать на якорь и убрать все паруса, спустить лодки, привязать одну к носу, а другую к корме, гребцам сесть по местам и выжидать, что будет дальше. Я это делал для того, чтобы люди находившиеся на лодках, держа наготове шкоты и ведра с водой, могли затушить огонь, в случае, если бы дикари попытались поджечь корабль. Приняв эти предосторожности, мы стали ждать, и скоро они подошли к нам. Никогда, наверное, не доводилось христианам видеть столь отвратительное зрелище. Мой боцман сильно ошибся в своих

предположениях относительно количества дикарей. Когда они подошли к нам, мы могли насчитать не более ста двадцати шести лодок; в некоторых было по шестнадцать — семнадцать человек, в нескольких даже больше, а в иных меньше — по шести или семи.

Подойдя к нам, они, повидимому, были изумлены и поражены тем, что увидели, однако же, смело подошли очень близко к нам и хотели, казалось, окружить нас, но мы дали приказ людям, посаженным в лодки, не допускать их слишком близко. Этот приказ и послужил поводом к бою, помимо нашего желания. Пять или шесть больших лодок так близко подошли к нашему баркасу, что наши люди стали делать дикарям знаки руками, чтобы они отошли дальше. Дикари это прекрасно поняли и отступили, но, отступая, осыпали нас градом стрел. Около пятидесяти стрел попало к нам на корабль, и один из наших матросов на баркасе был сильно поранен. Я крикнул нашим, чтоб они, боже сохрани, не стреляли, а на баркас мы передали несколько досок, и плотник тут же устроил из них щит для прикрытия сидящих в нем от стрел, на случай, если бы дикари вздумали снова стрелять.

Спустя полчаса они опять вернулись всей флотилией и подошли к нам с кормы. Тут увидел я, что это были старые мои знакомцы, такие же самые дикари, как те, с которыми мне столько раз приходилось сражаться. Немного погодя они отошли дальше в море, потом поровнялись с нашим кораблем и подошли с борта так близко, что могли слышать наши голоса. Я приказал людям держаться под прикрытием и зарядить все найти пушки. Но так как дикари подошли так близко, что могли нас услышать, я отправил Пятницу на палубу, чтобы он спросил у дикарей на своем языке, что им нужно. Поняли ли его дикари или нет, я не знаю, но немедленно вслед за тем, как Пятница прокричал им свой вопрос, шестеро из них, находившиеся в ближайшей к нам лодке, немного удалились и, повернувшись к нам спиной, показали свои голые задницы. словно приглашая нас поцеловать их в... Был ли то вызов или оскорбление, мы не знали; может быть они просто выражали свое презрение и подавали другим сигнал к нападению, Во всяком случае. Пятница сейчас же крикнул, что они будут стрелять, и в него полетело около трехсот стрел, — он служил им единственной мишенью — и к моему неописуемому огорчению бедный Пятница был убит. В бедняка попало целых три стрелы, и еще три упали возле него: так метко дикари стреляли!

Я был так озлоблен утратой моего старого слуги, товарища моих невзгод и моего одиночества, что приказал зарядить шесть пушек мелкой картечью и четыре крупной и дать залп из всех из них разом — этакое

угощения они, конечно, не видывали во всю свою жизнь.

В тот момент, когда мы дали залп, они находились на расстоянии менее пятидесяти сажен от нас. Я не могу сказать, сколько именно человек было убито и ранено, но никогда я не видел такого ужаса и смятения. Тринадцать или четырнадцать пирог были разбиты и опрокинуты, а люди, находившиеся в них, бросились вплавь. Остальные же, обезумев от ужаса, поспешили убраться во свояси, бросив на произвол судьбы тех, чьи лодки были разбиты или повреждены нашими выстрелами. Поэтому я полагаю, что погибло много людей. Спустя час после ухода дикарей найти люди вытащили из воды одного бедняка, а остальных мы так и не видели больше. В тот же вечер подул легкий ветер; мы снялись с якоря, подняли паруса и направились в Бразилию.

Наш пленник был в таком унынии, что не хотел ни есть, ни говорить, и мы думали, что он уморит себя голодом. Но я нашел способ излечить его. Я велел взять его и снести в баркас и дать ему понять, что его опять бросят в море в том самом месте, где его вытащили, если он не заговорит. Он продолжал упорствовать, и матросы действительно бросили его в море, а сами отъехали. Но тогда он поплыл вслед за баркасом — а плавал он как пробка — и заговорил с матросами на своем языке, хотя они не понимали ни слова. В конце концов, они снова взяли его в лодку, и с тех пор он сделался податливее. Наши матросы скоро выучили его по английски, и он рассказал, что дикари шли со своими королями на большое сражение. Когда он упомянул о королях, мы спросили, сколько же их было. Он ответил:

«Там было пять племя, и все шли биться против два племя». Мы спросили у него, чего же ради они подошли к нам? Он ответил: «Смотреть большое чудо».

Теперь я должен в последний раз упомянуть о моем бедном Пятнице — бедный, славный Пятница! Мы устроили ему торжественные похороны — положили его в гроб, опустили в море и сделали прощальный салют из одиннадцати орудий. Так кончил свою жизнь самый благородный, верный, честный и преданный слуга, какой только был на свете.

Мы пошли с хорошим ветром в Бразилию и дней через двенадцать заметили землю на шестом градусе южной широты; это была северо-восточная оконечность этой части Америки. Четыре дня мы шли на юго-восток, в виду берега, обогнули мыс св. Августина и через три дня стали на якорь в бухте Всех Святых, месте моего освобождения из плена у мавров.

Мне лишь с большим трудом удалось установить сообщение с берегом. Ни мой компаньон, который пользовался там очень большим

влиянием, ни купцы, заведывавшие моей плантацией, ни молва о моем чудесном спасении и жизни на острове не могли доставить мне такой милости. Но мой компаньон, вспомнив, что я вручил приору августинского монастыря пятьсот луидоров в пользу обители и пожертвовал двести семьдесят два луидора бедным, пользующимся поддержкой монастыря, отправился в монастырь и уговорил теперешнего приора пойти к губернатору и попросить, чтобы мне было дозволено съехать на берег, в сопровождении капитана, еще одного человека, по моему выбору, и восьми матросов, под условием, что мы не будем сводить на берег с корабля никаких товаров и не возьмем больше никого из экипажа без особого разрешения.

Береговая стража так строго смотрела за тем, чтобы я ничего не выгружал, что мне лишь с величайшим трудом удалось доставить на берег три тюка английских товаров: хорошего тонкого сукна, английских материй и полотна, которые я привез в подарок своему компаньону. Это был истинно благородный щедрый человек, хотя он, подобно мне, начал с малого. И хотя ему не было известно, подарю ли я ему что-либо, он еще раньше прислал мне на корабль в подарок свежей провизии, вина и сластей, стоимостью больше тридцати мойдоров, включая сюда некоторое количество табаку и три или четыре красивых золотых медали. Но и мои подарки были не менее ценны. Они состояли, как я говорил выше, из тонких сукон, английских материй, кружев и тонкого голландского полотна. Кроме того, я вручил ему также тех же товаров на сто фунтов стерлингов для другого употребления и поручил ему собрать шлюп, привезенный мною для моей колонии из Англии, с тем, чтобы отправить на нем разные припасы на мою плантацию.

Он нанял рабочих и собрал шлюп в очень короткое время; на это понадобилось всего несколько дней, так как все части были уже готовы. Капитану я дал такие точные инструкции, что он не мог не найти острова. И действительно, он нашел его, как сообщил мне впоследствии мой компаньон. Скоро мы нагрузили шлюп небольшим количеством товаров, которые я отправлял в колонию, и один из наших матросов, сопровождавший меня на берег, вызвался отправиться на шлюпе и поселиться в колонии, если я дам письмо к набольшему испанцу с просьбой отрезать ему достаточный для плантации кусок земли и снабжу его одеждой и необходимыми земледельческими орудиями. Он заявил, что земледелие ему хорошо знакомо, так как он долго был плантатором в Мэрилэнде и сверх того охотником на бизонов. Я снабдил его всем, чего он желал, и в придачу дал ему в слуги дикаря, которого мы взяли в плен, и

предписал наибольшему испанцу уделить ему соответствующую долю всех нужных для него вещей.

Когда мы снаряжали в путь этого человека, мой старый компаньон сказал мне, что у него есть один знакомый бразильский плантатор, очень почтенный человек, впавший в немилость у церковных властей и вынужденный скрываться из страха перед, инквизицией. Этот человек, по его словам, был бы рад случаю бежать вместе с женой и двумя дочерьми. И если бы я согласился допустить их на остров, он вызывался бы снабдить их небольшим капиталом, ибо инквизиция конфисковала все имущество этой семьи и все ее состояние. Я немедленно согласился на это и присоединил их к своему англичанину. Мы скрывали этого человека с женой и дочерьми на корабле до тех пор, пока шлюп не был готов к выходу в море. А когда шлюп вышел из залива, мы пересадили их на него (вещи их были свезены на шлюп еще раньше).

Наш матрос был очень доволен новым товарищем. Они захватили с собой все орудия необходимые для возделывания сахарного тростника, а также и тростниковые черенки: это дело португалец знал хорошо. Для колонистов я послал между прочим со шлюпкой три дойных коровы, пять телят, около двадцати двух свиней, в том числе три супоросных, две кобылы и одного жеребца.

Для моих испанцев я, согласно своему обещанию, уговорил поехать в колонию португальских женщин и написал испанцам, чтобы они женились на них и обращались с ними хорошо. Я мог бы уговорить поехать больше женщин, но я помнил, что у бедного изгнанника-португальца есть две дочери, а испанцев, нуждавшихся в женах, было всего пятеро. Остальные уже были женаты, хотя жены их и находились в других местах.

Весь отправленный мною на шлюпе груз дошел до колонии в целости, и колонисты, как всякий легко поймет, были чрезвычайно рады ему. Их было теперь около шестидесяти или семидесяти человек, не считая маленьких детей, которых было очень много. Вернувшись в Англию, я нашел в Лондоне письма от всех колонистов; письма эти были посланы со шлюпом, при его возвращении в Бразилию, а затем пересланы через Лиссабон.

Мое повествование об острове кончено; я не буду больше говорить о нем, и тот, кто намерен дочитать мои записки до конца, должен будет также попрощаться с ним и в дальнейшем найдет только рассказ о безумствах старика, которого ни его собственные, ни чужие невзгоды не научили благоразумию, которого не могли охладить сорок лет нужды и разочарований, который не удовлетворился богатством, превзошедшим

всякие ожидания, и не успокоился после беспримерных напастей и испытаний.

У меня было столько же надобности отправляться в Ост-Индию, как у человека, находящегося на свободе и не совершившего никакого преступления, пойти к привратнику Ньюгэтской тюрьмы и попросить, чтобы его заперли в тюрьму и уморили там. Если бы я нашел в Англии небольшое судно и отправился прямо на остров, нагрузив свой корабль всем необходимым для колонистов, если б я взял патент на управление островом, обеспечив его таким образом за собой, с подчинением одной только Англии, — а такой патент я несомненно мог бы получить, — если б я сделал все это и сам поселился бы на острове, можно было бы по крайней мере, сказать, что я действовал как человек благоразумный и здравомыслящий. Но меня обуял дух скитаний, и я, презирая все выгоды, тешился тем, что отечески заботился о людях, поселенных мною на острове, и щедрою рукой осыпал их благодеяниями, словно какой-нибудь монарх древних патриархальных времен. Я действовал отнюдь не в интересах какого-нибудь отдельного правительства или народа, не признавал ни одного государя своим повелителем или своих людей подданными той или другой нации — я даже не дал острову имени и оставил его, как нашел, никому не принадлежащим, а его население никому не подвластным и не подчиненным, кроме меня самого. Покинув остров вторично, я уже больше туда не возвращался; последние известия из колонии я получил через моего компаньона, который прислал мне письмо, хотя это письмо дошло до меня только пять лет спустя после того, как оно было написано. Тут я узнал, что живется колонистам неважно, что они недовольны слишком долгим пребыванием на острове, что Вилль Аткинс умер, а пятеро испанцев уехали, остальные же усердно просили его напомнить мне мое обещание увезти их с острова, чтобы они могли еще раз перед смертью увидеть родину.

Но мне было не до того; я увлекался самыми рискованными предприятиями, и тот, кому интересно знать, что было со мною дальше, должен будет пережить со мною новый ряд безрассудств, невзгод и опасных приключений.

Здесь не время распространяться о разумности или нелепости моего образа действий. Я решил предпринять новое путешествие и предпринял. Прибавлю здесь только, что мой добрый и искренно благочестивый друг, священник, покинул меня здесь, попросив у меня разрешения пересесть на корабль, готовившийся к отплытию в Лиссабон, и еще раз заметив при этом, что его судьба — не доводить до конца ни одного путешествия. Если

бы я поехал с ним, мне не пришлось бы за многое благодарить бога, а вы так и не прочли бы продолжения *Путешествий и Приключений Робинзона Крузо*; — поэтому пора оставить бесплодные самоукоры и продолжать свой рассказ.

Из Бразилии мы направились прямым путем через Атлантический океан к мысу Доброй Надежды и добрались туда довольно благополучно, переведавшись, впрочем, на пути и с бурями и с противными ветрами. Но все же можно сказать, что на море судьба перестала меня преследовать; отныне всякие злоключения и напасти постигали меня уже на суше. На мысе Доброй Надежды мы простояли ровно столько времени, сколько нужно было для того, чтобы запастись свежей водой, и двинулись дальше, к Коромандельскому берегу, но прежде зашли на остров Мадагаскар, где первое время туземцы принимали нас очень радушно. За несколько ножей, ножниц и других безделушек они дали нам одиннадцать откормленных быков. Однажды вечером, когда мы съехали на берег, нас окружило большее количество туземцев, чем обыкновенно, но все было тихо и мирно, и они относились к нам очень дружелюбно; мы сплели себе шалаш из древесных ветвей и решили ночевать на берегу. Одному мне почему то не хотелось провести ночь на голой земле, и я предпочел расположиться в лодке. Наша лодка стояла на якоре недалеко от берега, и в ней были оставлены, для присмотра за нею, два человека; одного из них я отправил на берег нарвать ветвей, устроил навес, разостлал на дно лодки парус и лег. Около двух часов утра на берегу поднялся страшный шум; кто-то из наших людей звал на помощь, умоляя скорее привести лодку, ибо иначе их всех перебьют; в то же время я услышал пять выстрелов подряд, а так как у наших было всего только пять ружей, значит, стреляли все, кто мог; — и так повторилось три раза. Проснувшись от шума, я велел человеку, оставшемуся в лодке, немедленно грести к берегу и решил, захватив из лодки запасные три ружья, выйти на берег и помочь нашим. наших было на берегу девять человек, но ружья были только у пяти; остальные были вооружены пистолетами и саблями, но это и мало помогало. Мы подобрали семь человек, из которых трое были опасно ранены, и, пока их перетаскивали в лодку, мы, стоявшие в ней, подвергались такой же опасности, как и те, что оставались на берегу, так как туземцы осыпали нас тучами стрел, а устроенные нами на борту щиты из скамеек и досок были плохой защитой.

Хуже всего было то, что мы не могли ни поднять якорь, ни распустишь паруса, чтобы уйти, так как для этого нужно было стать в лодке во весь рост, и уж туземцы могли бы бить нас без промаха, как охотник не

промахнется по птице, сидящей на дереве Мы стали подавать тревожные сигналы, и мой племянник, услышав выстрелы и разглядев в подзорную трубу, где мы стоим и что мы стреляем по направлению к берегу, понял, в чем дело.

Снявшись с якоря со всей возможной поспешностью, он подвел судно насколько можно было ближе к берегу и выслал нам на помощь другую лодку с десятью матросами. Один из них, зажав в руке конец бичевы, бросился вплавь и, добравшись до нашей лодки, укрепил на ней конец веревки, после чего мы решили пожертвовать якорем и перерезали канат, на котором он держался, а наши с корабля оттянули нас на такое расстояние, что стрелы уже не достигали нас. Как только мы отошли в сторону, наши повернули корабль боком к берегу и угостили островитян основательным залпом свинца и железа, мелких пуль и проч., который произвел среди них страшное опустошение.

Когда мы взошли на борт, наш торговый агент, не раз бывавший в этих местах, стал уверять, что туземцы ни в каком случае не тронули бы нас, если бы мы сами не подали к тому повода. Наконец, выяснилось, что старуха, обыкновенно носившая нам молоко, принесла его и вчера и привела с собой молодую женщину, у которой тоже было что-то для продажи, коренья или травы; пока старуха продавала молоко, один из наших матросов начал довольно грубо любезничать с молодой, при чем старая подняла страшный шум. Тем не менее матрос не выпустил своей добычи, а утащил ее на глазах старухи в лес, благо было уже почти темно. Старуха ушла домой одна и, должно быть, подняла на ноги всю свою деревню; оттуда дали знать в другие, и в какие нибудь три-четыре часа против нас собралось целое войско, и мы чуть было все не погибли.

Один из наших был убит дротиком в самом начале боя, как только наши выскочили из шалаша, где спали; — туземцы напали на них врасплох, ночью; остальные все уцелели, кроме виновника всей этой кутерьмы, который дорого поплатился за свою черную возлюбленную. Мы не сразу узнали, что с ним случилось — он исчез без следа; несмотря на попутный ветер, мы простояли еще два дня, давали сигналы, потом проехали на лодке несколько миль в одну и в другую сторону — но напрасно.

Однако я никак не мог успокоиться и решил еще раз сам побывать на берегу — мне во что бы то ни стало хотелось узнать, каковы были результаты битвы и сильно ли досталось индейцам. Это было на третий день после боя. Я выбрал из команды двадцать молодцов на подбор, взял с собой агента, и мы поехали. Причалили мы на том самом месте, где и раньше выходили на берег; часа за два до полуночи разделились на два

отряда и пошли к месту, где происходила битва. Вначале мы ничего не могли рассмотреть — было очень темно, но, немного погодя, наш боцман, предводительствовавший первым отрядом, споткнулся о мертвое тело и упал. Мы решили остановиться и дожидаться восхода луны, и при ее свете нашли тридцать два трупа, из которых два еще не остыли. Узнав, как мне казалось, все, что можно было узнать, я уже хотел было вернуться на корабль, но боцман со своими людьми прислал мне сказать, что они пойдут дальше, в индейский городок, посмотреть, не найдут ли они там Томаса Джеффри — так звали пропавшего матроса. И они пошли. Попытка была отчаянная, и надо было быть сумасшедшим, чтобы пойти на такое дело, но должен отдать им справедливость — они показали себя не только отважными, но и предусмотрительными. Шли они, главным образом, с целью грабежа, но одно обстоятельство, которого никто из них не предвидел, пробудило в них жажду мести. Дойдя до индейского селения, которое они принимали за городок, они были очень разочарованы — здесь оказалось не более двенадцати-тринадцати домов. Они порешили не трогать этих домов и идти дальше, искать город. Пройдя немного, они увидели корову, привязанную к дереву, отвязали ее, и корова привела их прямо к городу, состоявшему из двухсот приблизительно домов или хижин. Все жители крепко спали, не подозревая близости врага. Наши порешили разделить на три отряда и поджечь городок с трех концов, а когда жители выбегут, хватать и вязать. Пока они подстрекали друг друга, трое из них, ушедшие немного вперед, стали звать остальных, крича, что они нашли Томаса Джеффри; все бросились туда и, действительно, увидели бедняка, повешенного за руку на дереве, совершенно обнаженного и с перерезанным горлом. При виде бедного замученного товарища наши пришли в такую ярость что поклялись друг другу отомстить за него и тотчас приступили к делу. Четверть часа спустя они уже подожгли городок в четырех или пяти местах сразу, как только показался огонь, бедные перепуганные жители стали выбегать из домов, ища спасения, но вместо того находили смерть

Матросы на корабле, увидав пожар, разбудили моего племянника, капитана, и тот очень встревожился, не зная в чем дело. Он боялся за меня и за агента; в конце концов сел в лодку, взяв с собою тринадцать человек, и отправился на берег. Он очень удивился, увидав в лодке только меня и агента с двумя матросами, и не мог усидеть на месте от нетерпения так как шум все усиливался и пожар возрастал и он не знал, что происходит. Кончилось тем, что он не выдержал и сказал, что пойдет на помощь своим — будь что будет — и пошел, а без него и я не хотел оставаться. Короче говоря, он приказал двоим матросам плыть на его катере к кораблю и

привезти оттуда еще двенадцать человек, в большом баркасе; велел поставить баркас на якорь и шести матросам остаться караулить лодки, а остальным идти вслед за нами, так что на корабле должно было остаться только шестнадцать человек (весь экипаж состоял из 65 человек).

Мы бежали так, что не слышали земли под ногами, и прямо на огонь, не разбирая дороги. Если раньше нас поражал грохот выстрелов, то теперь мы слышали звуки иного рода, наполнившие ужасом наши сердца: то были крики и вопли бедных туземцев. Тем не менее, мы продолжали бежать и наконец добрались до города, хотя войти в него было уже невозможно: он весь был в огне. Первым делом мы наткнулись на развалины хижины или дома; перед нами лежали на земле семь трупов, четыре мужских и три женских, все эти люди были убиты и, как нам показалось, еще двое лежали среди догоравших развалин. Одним словом, перед нами были следы такой варварской расправы, такой бесчеловечной свирепости, что нам казалось невозможным, чтобы это было делом рук наших матросов. Но это было еще не все: пожар разрастался, и где загорался новый дом, там слышались и новые вопли, так что мы совсем растерялись и ничего не могли сообразить. Мы прошли немного дальше и, к удивлению нашему, увидели трех голых женщин, бегущих с такой быстротой, как будто у них за плечами были крылья, испуская отчаянные крики. Вслед за ними бежали шестнадцать или семнадцать туземцев, в таком же ужасе и смятении, и позади всех трое англичан — мясников — не могу назвать их иначе; нагнав несчастных, они стали стрелять, и один туземец упал мертвым на наших глазах. Завидев нас, беглецы вообразили, что мы такие же их враги, как и преследователи, ищущие их смерти, и подняли отчаянный крик, в особенности женщины, двое из них даже упали на землю от испуга, как мертвые.

Вся душа моя возмутилась при виде этого зрелища, и кровь застыла в моих жилах; я думаю если бы варвары-матросы в эту минуту подошли к нам, я приказал бы нашим людям пристрелить их всех троих. Мы стали делать знаки беглецам, пытаюсь объяснить им, что мы не желаем им зла, и они тотчас побежали к нам и, бросившись на колени, жалобно умоляли нас с поднятыми к небу руками спасти их. Мы дали им понять, что сделаем это, и они, сбившись в кучу, словно овцы, пошли за нами, в надежде на нашу защиту. Я велел своим людям никого не обижать, но, если возможно, пробраться к нашим и узнать, что за дьявол вселился в них и что это они затеяли, а главное подать им приказ прекратить резню, или иначе с наступлением утра против них выступит стотысячная армия туземцев, — а сам я пошел к беглецам, взяв с собой только двух человек. Поистине, они

представляли собой жалкое зрелище: у некоторых были страшно обожжены ноги, у других руки; одна женщина упала в огонь и чуть не сгорела живая, прежде чем ее вытащили; у троих мужчин были на спине и на бедрах раны от сабельных ударов, нанесенных преследователями, один был ранен пулей на вылет и умер при мне.

Мне очень хотелось узнать, в чем дело, но я не мог понять ни единого слова из того, что они говорили, и только по знакам догадывался. что некоторые из них и сами не знали этого Я вернулся к моим людям, сообщил им о своем решении и приказал следовать за мной. Но в эту самую минуту появились четверо из наших матросов, с боцманом во главе, все в крови и в пыли. Мои матросы стали кричать им что было мочи, и, наконец, с большим трудом одному из наших удалось добиться того, что его услышали.

Завидев нас, боцман испустил крик радости и торжества; он подумал, что мы пришли к нему на помощь. «Капитан», воскликнул он, «благородный капитан, как я рад, что вы пришли. Мы не сделали и половины дела. Мерзавцы! Проклятые собаки! Я перебью их столько, сколько было волос на голове у бедного Тома. Мы поклялись не щадить никого. Мы сотрем их с лица земли». Возвысив голос, чтобы заставить его замолчать, я сказал ему: «Изверг, что ты натворил тут? Под страхом смерти я запрещаю трогать кого бы то ни было. Если ты не хочешь немедленно быть убитым, как собака, я приказываю тебе не трогаться с места и стоять смирно». «Разве вы не знаете, сэр», отвечал он, «что они наделали? Если вы хотите знать, почему мы так поступаем, взгляните сюда!» И он указал на бедняка, висевшего на дереве с перерезанным горлом.

Признаюсь, что это зрелище взволновало и меня, и в другое время я не оставил бы такой поступок безнаказанным. Но я думал, что они зашли слишком далеко в своем мщении, и мне вспомнились слова Иакова, сказанные им сыновьям Симеону и Левию: «Да будет проклят их гнев, ибо он был свиреп, и месть их, ибо она была жестока». Теперь на руках у меня была новая забота, ибо когда люди, бывшие со мною, увидели то, что видел я, мне было так же трудно удержать их, как и других. Даже мой племянник и тот отказался на их стороне и, выслушав их, громко сказал мне, что он боится только «того, как бы дикари не одолели их. Восемь моих матросов бросились сейчас же за боцманом и его шайкой, чтобы довершить их кровавое дело. Поняв свое бессилие остановить их, я ушел, опечаленный и расстроенный, ибо для меня было невыносимо это Зрелище, особенно же стоны и вопли несчастных дикарей, падавших от руки наших матросов.

Мне удалось уговорить остаться со мной только агента и двоих

матросов. С ними я вернулся к лодкам. Немедленно я взял капитанский катер обратно, на случай, если он понадобится оставшимся на берегу. Когда катер подошел к берегу, начали возвращаться мало по малу и наши матросы, но возвращались они не двумя отрядами, как вошли, а отдельными кучками, так что небольшой отряд решительных людей легко мог бы их перебить. Но они навели страх на всю страну. Дикари были так напуганы, что сотня их, пожалуй, разбежалась бы при виде пятерых матросов.

Я был очень недоволен своими людьми и в особенности моим племянником, капитаном, который скорее подстрекал, чем сдерживал людей, затеявших такое кровавое и жестокое дело. На следующий день, когда подняли паруса, я сказал своим людям, что бог не пошлет нам удачи в пути, ибо резня, учиненная ими в ту ночь, была в моих глазах преступлением. Том Джеффри был, правда, убит дикарями, но убит как насильник и нарушитель мира. Боцман доказывал свою правоту. По его мнению, только с формальной стороны нарушили перемирие мы — в действительности же войну начали сами дикари. Они первые стали стрелять в нас и убили одного из наших без всякого законного повода, так что, если мы были вправе сражаться с ними, то мы были вправе и расправиться с ними, хотя бы и таким необычайным манером.

Теперь путь корабля лежал на Персидский залив, а оттуда на Коромандельский берег, с остановкой только в Сурате. Но главным местом нашего назначения был Бенгальский залив. Первое несчастье случилось с нами в Персидском заливе, где пятеро наших матросов были окружены арабами и перебиты ими или отданы в рабство. Я опять стал говорить своим, что это справедливое возмездие неба за их преступление; но боцман, разгорячившись, сказал мне, что я захожу слишком далеко в своих укорах и в подкрепление их не могу даже сослаться на св. писание. Он привел мне тринадцатую главу от Луки, стих 4-й, где спаситель наш говорит, что те люди, на которых упала Силоамская башня, были не грешнее других галилеян. Мне пришлось замолчать главным образом потому, что ни один из погибших матросов не принимал участия в резне на Мадагаскаре.

Но мои рассуждения на этот счет имели более печальные последствия, чем я ожидал. Боцман, который был вожаком в этой резне, однажды пришел ко мне и дерзко сказал, что, если я не прекращу своих проповедей и не перестану приставать к нему и мешаться в его дела, он оставит корабль, ибо с таким человеком, как я, по его мнению, плыть небезопасно.

Я ответил ему, что я действительно все время возмущался резней на

Мадагаскаре, — ибо не могу назвать этого иначе, — но что я был в значительной степени собственником корабля и, в качестве такового, имел право сказать даже больше того, что я говорил, и не считаю себя ответственным ни перед ним, ни перед кем другим. На это он мне почти ничего не возразил, и я считал дело поконченным. В это время мы стояли на рейде в Бенгальском заливе, и, желая осмотреть место, я для развлечения съехал на берег вместе с агентом. Вечером я собирался вернуться на корабль, но тут ко мне подошел один из наших матросов и сказал мне, чтобы я не трудился идти на берег к лодке, потому что им не велено брать меня с собой. Я сейчас же разыскал агента, сообщил ему об этом и попросил его отправиться немедленно в туземной лодке на корабль и рассказать обо всем капитану. Но это оказалось излишним, ибо в то время, когда я разговаривал с ним на берега, моя судьба уже была решена на корабле: как только я отправился на берег, боцман, пушкарь и плотник, одним словом, все важнейшие чины команды пришли на шканцы и пожелали переговорить с капитаном. Боцман произнес при этом длинную речь и напрямик объявил капитану, что своей добровольной поездкой на берег я избавлял их от необходимости учинить надо мной насилие, но что они прибегли бы к насилию, чтобы заставить меня покинуть корабль, если б я не сделал этого сам. Поэтому они считают нужным заявить, что они и впредь обязуются верно служить на корабле под его командой, как они уговаривались, но, если я не оставлю корабля, тогда они сами сейчас же покинут его. Они поклялись друг другу в этом, и все были единодушны.

Когда мой племянник, съехав ко мне на берег, сообщил мне это, я ответил, чтобы он не тревожился из-за меня, так как я останусь на берегу. Я выразил лишь пожелание, чтобы мне прислали все необходимое и вручили достаточную сумму денег. А там уже я как-нибудь проберусь в Англию. Таким образом, дело было улажено в несколько часов; команда вернулась к исполнению своих обязанностей, и я стал думать, что мне теперь предпринять.

Я был теперь один на конце света, почти на три тысячи морских миль дальше от Англии, чем я был на своем острове. Правда, отсюда я мог проехать сухим путем через страну Великого Могола до Сурата, потом добраться морем через Персидский залив до Бассоры и затем, следуя по пути караванов, через Аравийскую пустыню до Алеппо и Александрии, оттуда опять морем в Италию и сухим путем во Францию. Я мог избрать и другой путь — дожждаться одного из английских судов, которые заходят в Бенгал из Ачина на острове Суматре, и на нем морем вернуться в Англию; но так как я прибыл сюда, не имея никаких связей с английской Ост-

Индской компанией, то мне было бы трудно уехать на одном из ее кораблей, разве только благодаря покровительству кого-нибудь из капитанов или агентов компании, но ни с кем из них я не был знаком.

Здесь я имел печального рода удовольствие видеть, как корабль двинулся в путь без меня. Думаю, никогда еще с человеком моих лет и в моем положении люди не поступали так недостойно — если только это не были пираты, бежавшие с чужих судов и высаживающие на берег всякого, кто не захочет потворствовать их гнусностям. Впрочем, племянник оставил мне двух слуг, или спутника и слугу, первый был помощник нашего судового агента, которого племянник упросил остаться со мной, а другой — его слуга. Я нашел себе хорошее помещение в доме одной англичанки, где квартировало много купцов; там жили несколько французов, два итальянца или вернее еврея и один англичанин.

Со мной было немного ценных английских товаров, а мой племянник оставил мне значительную сумму денег в золоте и чеках. Товары я не без выгоды распродал и накупил бриллиантов. Я прожил там девять месяцев, и с англичанином мы очень подружились. Однажды утром он приходит ко мне и говорит:

— Знаете, земляк, я хочу поделиться с вами одним планом; мне он очень улыбается, да, насколько я вас знаю, и вам он придется по душе, когда вы его хорошенько обсудите. Если вы присоедините свою тысячу фунтов к моей тысяче, мы можем нанять здесь корабль, любой, какой нам понравится; вы будете капитан, я — купец, и мы отправимся торговать в Китай, а то чего мы здесь дожидаемся? Весь мир в движении; все божьи создания и на небе и на земле работают, трудятся; с чего же нам то быть праздными? В целом мире нет таких трутней, как люди; но зачем нам быть трутнями?

Мне его предложение очень понравилось тем более, что тон его был такой дружественный и доброжелательный. Прошло, однако, довольно много времени, прежде чем мы отыскали подходящий корабль, а когда добыли корабль, оказалось, что не так то легко добыть английских матросов. Однако, некоторое время спустя мы нашли штурмана, боцмана и пушкаря — англичан, голландца-плотника и трех португальцев-матросов, этими людьми можно было обойтись, и даже довольно сносно, а остальную команду набрать из индусов-моряков, какие были под рукою.

Многие путешественники описывали свои странствования по этим местам, так что еще одно описание едва ли показалось бы занимательным читателю. Достаточно будет сказать, что прежде всего мы отправились в Ачин, на остров Суматру, а оттуда в Сиам, где выменяли часть своих

товаров на опиум и часть на арак, — первый в большой цене у китайцев, и как раз в то время в Китае чувствовался в нем большой недостаток. Короче говоря, мы совершили далекое путешествие в Сускан и вернулись в Бенгалию, пробыв в отсутствии восемь месяцев. На этом первом предприятии я нажил столько денег и так хорошо научился наживать их, что, будь я на двадцать лет моложе, я наверное поддался бы искушению остаться здесь и не стал бы искать иного способа составить себе состояние. Но могло ли иметь силу подобное искушение для человека за шестьдесят, уже достаточно богатого и покинувшего свой дом больше из ненасытной потребности видеть свет, чем из за алчности и желания преуспеть в нем? Я попал в такую часть света, где я раньше никогда не бывал, — а между тем слышал о ней очень много — и решил осмотреть в ней все, что только мог.

Но мой новый друг и компаньон был иного мнения. Вообще, мы с ним были разные люди. Он готов был, как почтовая лошадь, вечно бегать взад и вперед по одной и той же дороге, останавливаясь в одной и той же гостинице, лишь бы только, как он выражался, дело его кормило; я же, наоборот, хоть был стар годами, напоминал скорее шалого мальчишку-бродягу, которому не охота два раза видеть одно и то же. Но это еще не все. Мне хотелось быть ближе к дому, но в то же время я совершенно не мог решить, какой путь избрать, и не мог остановиться ни на одном. Пока я думал и раздумывал, мой приятель, искавший себе нового дела, предложил мне другое путешествие — на Молуккские острова, с тем, чтобы привести оттуда груз гвоздики. Мы не долго готовились к этому путешествию; оно вышло весьма удачным: мы заходили на Борнео и еще на другие острова, названия которых не припоминаю, и вернулись домой месяцев через шесть. Свой груз пряностей, состоявший, главным образом, из гвоздики и мускатного ореха, мы продали с большим барышем персидским купцам, заработав почти впятеро больше того, что истратили, так что денег у нас была теперь целая куча.

Немного времени спустя из Батавии пришел голландский корабль. То было каботажное судно, вместимостью, приблизительно, в двести тонн; команда его вся расхворалась или притворялась больной, так что капитану не с кем было выйти в море. Поэтому, став на якорь в Бенгальском заливе, он опубликовал извещение, что желает продать свой корабль. Я узнал об этом раньше своего нового компаньона, и мне очень захотелось купить это судно. Я пошел к нему и рассказал, какой случай представляется. Он ответил, что надо подумать — он, вообще, был человек осторожный и не торопился в своих решениях, — но, подумав, сказал: «Судно немножко велико, но все таки мы его купим». И мы купили корабль и составили

купчую на него, а матросов решили, если можно будет, удержать и присоединить к своим; тогда у нас сразу составилась бы команда, и мы могли бы продолжать наше дело; но совершенно неожиданно для нас оказалось, что все матросы исчезли без следа, получив вместо жалованья каждый свою часть из денег, вырученных от продажи судна; мы не могли найти буквально ни одного из них.

После долгих расспросов я узнал, что они отправились сухим путем через земли Великого Могола в Персию, и я очень жалел, что не присоединился к ним. Мои сожаления, однако, прекратились, когда выяснилось, что это были за люди; вкратце обстояло так: человек, которого они называли капитаном, был вовсе не командир судна, а простой пушкарь, их корабль был купеческий; на Малайском берегу на них напали туземцы, убили капитана и трех матросов; а остальные одиннадцать человек, видя, что капитан убит, завладели судном и привели его в Бенгальский залив, еще раньше высадив на берег помощника капитана и пятерых матросов, не одобрявших их Поведения.

Во всяком случае, каким бы путем корабль ни достался им, мы, как нам казалось, приобрели его вполне законно. Правда, нам следовало бы отнестись осторожнее к этой покупке: мы не задали ни одного вопроса матросам, а между тем мы наверное уличили бы их в противоречиях, которые заронили бы в нас подозрения. Но мнимый капитан показал нам подложную купчую о продаже корабля на имя некоего Эмануила Клостерсговена или что то в этом роде; он выдавал себя за это лицо. Не имея никаких оснований для недоверия, мы живо заключили сделку.

Мы все-таки подобрали несколько англичан матросов и несколько голландцев и, сформировав таким образом команду, решили вторично отправиться за корицей и прочими пряностями на Филиппинские и Молуккские острова. Короче говоря, я прожил в этой стране целых шесть лет, разъезжая с товарами из порта в порт и наживая при этом хорошие деньги. В последний год мы с моим компаньоном на этом самом корабле предприняли путешествие в Китай, но сначала порешили зайти в Сиам, для покупки риса. В этом путешествии нам не повезло, противные ветры принудили нас долгое время лавировать в Молуккском проливе и между ближайшими к нему островами, и не успели мы еще выбраться из этих опасных вод, как заметили, что наш корабль дал течь, а между тем трещины мы найти не могли. Приходилось волей-неволей искать пристанища в какой-нибудь гавани, и мой компаньон, гораздо лучше меня знавший эту местность, велел капитану войти в устье Камбоджи; я говорю «капитану», потому что я произвел нашего штурмана, некоего мистера

Томпсона, в капитаны, не желая брать на себя управление судном.

Стоя там, мы часто съезжали на берег для пополнения припасов. И вот однажды, когда я был на берегу, подходит ко мне один англичанин — если не ошибаюсь, он служил помощником главного пушкаря на английском ост-индском судне, стоявшем на якоре на той же реке — и говорит: «Сэр, я должен вам сообщить нечто для вас весьма важное». «Если это важно для меня, а не для вас, что же побуждает вас сообщать мне это?» — «То, что вам грозит неминуемая гибель, а вы, повидимому, не имеете об этом никакого понятия». «Не знаю, о какой опасности вы говорите; знаю только, что мой корабль дал течь, и мы не можем найти трещины, но завтра я рассчитываю вывести его на мель, и тогда, по всей вероятности, трещина будет найдена». «Ну, знаете ли, сэр, есть в нем трещина или нет, найдете вы ее, или не найдете, а все-таки, выслушав то, что я имею вам сообщить, вы вряд ли выведете его завтра на мель; это было бы совсем не умно. Разве вам неизвестно, что город Камбоджа лежит всего в пятнадцати лигах отсюда вверх по течению, а в пяти лигах стоят два больших английских корабля да три голландских». «Ну так что же? Мне то какое дело?» — «Как, сударь, — воскликнул он, — человек, пускающийся в такие предприятия, как вы, заходит в порт, не разузнавши предварительно, с какими судами он может столкнуться там? Неужели вы обольщаете себя надеждой оправиться с ними?»

Слова эти очень позабавили меня, но не внушили никакого беспокойства, потому что я никак не мог понять, что он подразумевает. Я попросил его объяснить: «Сударь, с какой стати бояться мне голландских кораблей или кораблей Ост-индской компании? Я не контрабандист, что им за дело до меня?» — Он посмотрел на меня немного удивленно, немного досадливо и сказал с улыбкой: «Что ж, сударь, если вы считаете себя в безопасности, полагайтесь на свою судьбу. К сожалению, вы настолько ослеплены ею, что не желаете слушать доброго совета. Но уверяю вас, что если вы сейчас же не выйдете в открытое море, вас атакуют пять баркасов, полных народу, и, пожалуй, тут же и повесят вас, как пирата, а разбирать дело будут уж после. Я полагаю, вам хорошо известно, что этот ваш корабль стоял у берегов Суматры, там ваш капитан был убит малайцами и с ним еще три матроса, вы же или не вы, так другие, бывшие на корабле вместе с вами, порешили бежать, завладев судном, и сделаться *пиратами*. Вот вкратце сущность дела; и все вы будете арестованы, как пираты, и без долгих разговоров казнены; ведь вы знаете, купеческие корабли не церемонятся с пиратами, когда те попадают им в руки. Поэтому, если вам дорога ваша жизнь и жизнь ваших людей, выходите в море, не теряя ни

минуты, лишь только начнется прилив; и так как за вами не погонятся раньше следующего прилива, вы успеете уйти, тем более что лодки не посмеют гнаться за вами в открытом море, особенно во время ветра». «Благодарю вас, сударь, вы оказали мне большую услугу, чем же мне вознаградить вас?» — «Сэр, у вас нет доказательств, что я говорю правду. Вот что я предложу вам: я служу на корабле, на котором я и приехал из Англии; мне не плачено жалованье за девятнадцать месяцев, а моему товарищу, голландцу, надо получить за семь месяцев; если вы обещаете заплатить нам обоим, сколько нам следует, мы поедем с вами; если вы не найдете, что мы вам оказали услугу, мы больше ничего и не спросим; если же вы убедитесь, что мы спасли ваш корабль и спасли жизнь вам и всему вашему экипажу — мы предоставляем на ваше усмотрение, как вам поступить».

Я охотно согласился на это и поспешил вернуться на корабль, захватив с собою обоих матросов. Не успел я взойти на борт, как мой компаньон выбежал ко мне навстречу, на шканцы, и радостно крикнул мне; «Ура, ура, мы остановили течь, мы остановили течь!» мы остановили течь!» — «Неужто правда?» воскликнул я. «Ну, слава богу! В таком случае сейчас же снимемся с якоря!» — Он был удивлен, но тем не менее позвал капитана, приказал сняться с якоря, и мы вышли в море, несмотря на то, что не было еще полного прилива; тогда я увел своего компаньона к себе в каюту и рассказал ему все подробно. Не успел я окончить, как к двери каюты подбегает матрос и кричит: «Капитан велел вам сказать, что за нами гонятся». — «Гонятся? Кто же гонится и на чем?» — «Пять шлюпок или лодок, полных людей». Мы приготовились к бою, но в то же время уходили все дальше в море, благо ветер был свежий и попутный; а за нами на всех парусах гнались пять больших баркасов. Два из них — мы видели в подзорную трубу, что они были английские — шли впереди и почти нагоняли нас; мы дали холостой выстрел из пушки и подняли белый флаг в знак того, что желаем начать переговоры, но они не обратили на это никакого внимания и продолжали гнаться за нами, пока не подошли на расстояние выстрела. Тут мы убрали свой белый флаг, видя, что нам не отвечают, и подняли красный, а затем снова выстрелили в них уже картечью. Но и это не подействовало; они продолжали теснить нас и даже пытались подойти к нам под корму, чтобы взять нас на абордаж. Тут я велел повернуть корабль, так что они поровнялись с нашим бортом, и мы, не теряя времени, выпалили в них из пяти пушек сразу, при чем одним ядром снесло корму у заднего баркаса. Тем временем одна из трех отставших лодок подошла ближе и поспешила на помощь поврежденному баркасу; мы

видели, как она подбирала людей. Мы опять окликнули передний баркас, но он был уже под нашей кормой. Тогда наш пушкарь выкатил два кормовых орудия и пальнул в него, а затем мы опять повернулись боком и, после нового залпа из трех орудий, баркас оказался разбитым почти в щепы. Видя это, я немедленно приказал спустить капитанский катер и подобрать сколько можно будет людей. Наши матросы выполнили приказ в точности и подобрали трех человек, из которых один совсем уж тонул. Лишь только они вступили на борт, мы распустили все паруса, и лодки должны были отказаться от преследования.

Избавившись таким образом от опасности, я поспешил изменить курс, чтобы никто не мог догадаться, куда мы идем, и мы направились в открытое море к востоку, совершенно в сторону от обычного пути европейских судов. Уйдя на большое расстояние от берега, мы стали расспрашивать у взятых нами моряков, что все это значит. Голландец объяснил нам, что человек, продавший нам судно и выдававший себя за капитана, был попросту вором, укравшим чужую собственность; что настоящий капитан был изменнически убит малайцами, и с ним были убиты три матроса; что он, голландец, и еще четыре человека убежали и долго скитались в лесах, а потом ему чудом удалось добраться вплавь до голландского корабля. Далее он рассказал нам, как он приехал в Батавию и встретил там двух матросов с этого самого корабля; они отделились от своих товарищей, покинув их где-то на пути, и сообщили, что боцман, бежавший с кораблем, продал его в Бенгалии шайке пиратов, которые теперь разбойничают на нем и захватили уже один английский и два голландских корабля с богатым грузом.

Мой компаньон был того мнения, что нам следует сейчас же вернуться в Бенгалию, в тот самый порт, откуда мы вышли, так как мы имеем полную возможность доказать, что нас не было на корабле, когда он пришел в Бенгальский залив, — и где мы купили его, и у кого. Я сначала был заодно с ним, но, пораздумав, сказал, что, по-моему, нам слишком рискованно возвращаться в Бенгалию, потому что нас, наверное, перехватят где-нибудь по дороге.

Мой компаньон струсил, и мы решили идти прямо в Тонкин, а оттуда в Китай, пока нам не представится случай развязаться с нашим кораблем; и возвратиться на каком-нибудь другом судне. Должен признаться, мне было очень не по себе, и я считал, что нахожусь в опаснейшем положении, в каком мне только доводилось бывать. В самом деле, несмотря на все мои злоключения, никогда еще меня не преследовали, как вора; никогда еще я не совершил ни одного бесчестного поступка, особенно воровства. Я был

совершенно невинен и однако не мог доказать своей невинности.

После долгого и утомительного пути, идя все время зигзагами и терпя недостаток в продовольствии, мы подошли, наконец, к берегам Кохинхины и решили войти в устье маленькой речки, которая была, однако, достаточно глубока. И счастье наше, что мы так сделали; это было нашим спасением; на следующее же утро в Тонкинский залив вошли два голландских судна, а третье, без всякого флага, но которое мы тоже сочли голландским, прошло всего в двух милях от нас, направляясь к берегам Китая; а под вечер тем же курсом прошли два английских корабля. Местность, где мы теперь находились, была дикая, варварская; население сплошь занималось воровством, так что мы натерпелись от него немало, несмотря на то, что старались ограничить свои сношения с ним добыванием провизии в обмен за разные мелочи. Народец этот имел обыкновение смотреть на людей, которых к ним забрасывало кораблекрушением, как на своих пленников и рабов. Вскоре нам представился случай узнать, каково их гостеприимство.

Я уже заметил выше, что наш корабль, будучи в море, дал течь и что течь эту неожиданно удалось прекратить в сиамской бухте, перед самым преследованием английских и голландских лодок; но все таки корабль оказался не настолько надежным и крепким, как нам было желательно, и мы решили, воспользовавшись тем, что мы стоим на месте, разгрузить его и вытащить, если возможно, на берег или поставить на мель, чтобы добраться до трюма и посмотреть, где трещина. А потому, спустив с корабля пушки и другой груз, мы накренили его на бок. Туземцы, бродившие по берегу, немало дивились этому зрелищу; им оттуда не видно было наших людей, работавших на плотках и лодках у киля, и они вообразили, что корабль покинут экипажем. Придя к такому заключению, они собрались всей ватагой и через несколько часов на десяти больших лодках подъехали к нам, без сомнения с целью грабежа; если бы они поймали нас врасплох, то наверное захватили бы в плен. Я скомандовал нашим людям, работавшим на плотках, немедля вскарабкаться на борт по обшивке, а тем, что были на лодках, обойти кругом и подойти сбоку, но не успели они выполнить приказ, как кохинхинцы настигли их и, взяв на абордаж наш баркас, стали хватать и забирать в плен наших матросов. Первый, на кого они наложили руку, был английский матрос, сильный, здоровый парень; в руках у него был мушкет, но он и не подумал стрелять, а положил его на дно лодки. «Вот дурак», подумал я; но оказалось, что он знает свое дело не хуже меня; облапив нападавшего на него дикаря, он перетащил его в нашу лодку и тут, схватив его за уши, с такой силой стукнул головой о борт, что у того дух вышибло. А тем временем

голландец, стоявший рядом, поднял мушкет и принялся, колотить прикладом направо и налево, да так удачно, что положил пятерых туземцев, пытавшихся взобраться в нашу лодку. Но все-таки; им не под силу было справиться с тридцатью-сорока врагами.

Однако же довольно забавный случай помог нашим одержать полную победу. Наш плотник как раз перед тем собрался очищать дно корабля и заливать пазы смолою в тех местах, где образовались трещины, и принес в лодку два котла — один с кипящею смолою, другой, наполненный камедью, салом и маслом, тоже кипящими; а его помощник захватил с собою большой железный черпак, и как только два дикаря вскочили в лодку, где он стоял, он зачерпнул полон ковш кипящей жидкости и плеснул ею в них, и так как дикари были полуголые, их до того ошпарило и обожгло, что они заревели, как быки, и, обезумев от боли, прыгнули оба в море. Плотник, увидев это, закричал: «Здорово, Джек, ну ка огрей их еще», и, выступив сам вперед, схватил швабру, а — его помощник другую и, обмакивая швабры в котел со смолою, они так хорошо угостили неприятелей, что из всех дикарей, размещенных в трех лодках, не осталось ни одного, который не был бы обожжен или обварен; а уж крик и вой они подняли такие, как волки в лесах на границе Лангедока.

Тем временем мой компаньон и я, с помощью части матросов, искусно повернули корабль, поставив его почти прямо, и водворили на место пушки, после чего наш пушкарь попросил меня приказать нашей лодке сойти прочь с дороги, потому что он сейчас будет стрелять. Я запретил ему стрелять, заявив, что плотник сделает все дело и один, без него, и приказал вскипятить еще котел смолы, уже приготовленный поваром; но враг был до того напуган отпором, полученным им в первую атаку, что уже не повторял нападения, а те лодки, что поотстали, увидя, что корабль качается на волнах и стоит прямо, должно быть поняли свою ошибку и отказались от своих планов.

На другой день, окончив чистку и починку корабля и залив смолою все трещины, мы распустили паруса. Сначала мы держали путь на северо-восток, как бы направляясь к Манильским или Филиппинским островам — это мы делали для того, чтоб не встретиться с какимнибудь европейским судном, — а затем взяли курс на север и не меняли его, пока не дошли до 22° и 22' северной широты, став на якорь у берегов острова Формозы с целью запастись водою и свежеею провизиєю; отсюда мы пошли еще дальше на север, все время держась на почтительном расстоянии от китайского берега, пока не миновали всех китайских портов, куда обыкновенно заходят европейские суда. Дойдя до 30° северной широты, мы

решили зайти в ближайший торговый порт, и в то время как направлялись к берегу, к нам подъехал в лодке старый португалец-лоцман предложить свои услуги. Мы были очень рады этому и тотчас взяли его на борт.

— «Можете ли вы провести нас к Нанкину, где мы желаем распродать наш груз и закупить китайских товаров?» — обратился я с вопросом к нему. Он ответил, что, конечно, может, и что большой голландский корабль недавно пошел туда. Это известие немного встревожило меня: голландские корабли стали для нас теперь пугалом, и мы охотнее встретились бы с самим чертом, лишь бы только он показался не в очень уж страшном виде, так как были уверены, что голландский корабль погубит нас.

Заметив мое смущение, старик сказал мне: «Сударь, вам нечего бояться этого корабля. Ведь ваше государство не находится в войне с Голландией». — «Это верно, — ответил я; — но бог ведает, какие вольности могут позволить себе люди, когда они недосыгаемы для закона». — «Но ведь вы не пираты; чего же вам бояться? Конечно, они не тронут мирных купцов».

Если вся моя кровь не прилила к лицу при этих словах, то лишь потому, что ей помешали устроенные природой клапаны в сосудах; ибо португалец поверг меня в крайнее смущение, которого он не мог не заметить.

— «Сударь, — сказал он, — мои речи как будто смутили вас. Однако, я весь к вашим услугам и готов вести вас, куда вам будет угодно». — «Сеньор, — отвечал я. — я действительно нахожусь в некоторой нерешительности, куда мне держать курс, и ваше упоминание о пиратах еще увеличило мое колебание. Надеюсь, что в этих морях нет пиратов; мы совсем не подготовлены к встрече с ними: вы видите, как нас мало и как мы плохо вооружены».

— «Пожалуйста не тревожьтесь; пятнадцать лет не было видно пиратов в этих морях, за исключением одного, который, по слухам, показался месяц тому назад в сямской бухте; но можете быть уверены, что он пошел по направлению к югу; к тому же, это корабль небольшой и не приспособленный для разбоя. Он был украден мерзавцами матросами после того, как капитан и несколько человек команды были убиты малайцами на Суматре или где-то близко от нее». — «Как! — воскликнул я, притворяясь, что ничего не знаю об этом, — они убили капитана?»

— «Нет, я не утверждаю этого; но так как они увели потом корабль, то все убеждены, что они выдали капитана малайцам, и те может быть по их наущению умертвили его». — «В таком случае они заслуживают смерти, как если бы сами совершили убийство».

— «Несомненно, — отвечал старик, — и они наверное будут доведены, если встретятся с английским или голландским кораблем, ибо все командиры порешили между собой не давать пощады негодьям, когда те попадут в их руки». — «Однако, по вашим словам, пират ушел из этих морей, как же они могут встретиться с ним?» — «Да они и не рассчитывают на это; однако, пират, как я уже сказал вам, был опознан в устье Камбоджи голландскими матросами, которые служили на нем и были покинуты мятежниками на берегу; несколько английских и голландских кораблей, стоявших в реке, чуть было не изловили пирата. Если бы лодки, посланные за ним, получили во-время поддержку, он наверное был бы захвачен; но прежде, чем подошла подмога, он успел потопить их и удрал. Однако, всем судам дано такое точное описание пирата, что его узнают повсюду, и уж, конечно, не будет дано пощады ни капитану, ни матросам: негодья тут же будут вздернуты на рее». — «Как! — воскликнул я, — не выслушавши их? Сначала повесят, а затем будут судить?» — «Э, сударь, — отвечал лоцман, — с такими мерзавцами не стоит церемониться; связать их спинами да и пустить поплавать, вот все, чего они заслуживают».

Я знал, что старик в моей власти и не может причинить нам вреда; поэтому я без обиняков заявил ему: «Именно по этой причине, сеньор, я и хочу, чтобы вы провели нас в Нанкин, а не в Макао или в какойнибудь другой порт, куда заходят английские или голландские корабли; да будет вам известно, что капитаны этих английских и голландских кораблей самонадеянные наглецы, не знающие законов божеских и человеческих: плохо понимая свои обязанности, они сами становятся убийцами в уверенности, будто наказывают преступников, оскорбляют людей, на которых взведено ложное обвинение, и обсуждают их без всякого расследования дела. Может быть именно на меня выпала задача призвать их к ответу и показать им, что с человеком нельзя обращаться как с преступником, пока совершение им преступления не доказано с очевидностью». Тут я рассказал ему всю нашу историю. Лоцман был очень удивлен и признал, что мы были правы, взяв курс на север. Во время этого разговора мы все время шли по направлению к Нанкину и через тринадцать дней стали на якорь в юго-западной части большого нанкинского залива; там я случайно узнал, что меня опередили два голландские судна и что я непременно попаду в их руки.

Я спросил старого лоцмана, нет ли тут бухты или залива, куда бы мы могли зайти и завести торговлю с китайцами, не подвергаясь при этом никакой опасности. Он ответил, что если я не прочь отойти лиги на сорок две к югу, там есть небольшой порт Квинчанг, где обыкновенно

высаживаются отцы-миссионеры, направляясь из Макао в Китай проповедывать христианскую религию, и куда еще не заходил ни один европейский корабль. Однако, порт этот не коммерческий, и лишь во время ярмарки туда заезжают японские купцы.

Мы все были согласны идти туда и на другой же день снялись с якоря, съездив на берег только два раза за свежую воду, но ветер был противный, и до Квинчанга мы добрались только через пять дней, зато остались им очень довольны, в особенности я. Когда я, наконец, мог, не подвергаясь опасности, выйти на берег, я ощутил прилив не только радости, но и благодарности, и мы с моим компаньоном оба решили, что, если только будет какаянибудь возможность пристроить здесь скольконибудь выгодно себя самих и свои товары, мы никогда больше не вернемся на этот злосчастный корабль.

В самом деле, на основании собственного опыта могу сказать, что ничто не делает человека таким жалким, как пребывание в непрерывном страхе. Действуя на воображение, страх преувеличивает каждую опасность, и капитаны английских и голландских кораблей рисовались нам людьми, неспособными внимать доводам разума и отличать честных людей от негодяев, правдивый рассказ от выдумки. Несомненно у нас была тысяча средств убедить разумное существо, что мы не пираты: товары, которые мы везли, курс нашего корабля, открытые посещения портов, наконец, слабые наши силы и ничтожное количество оружия, аммуниции и припасов. Опиум и другие товары доказывали, что судно наше шло из Бенгалии. Но страх, эта слепая и бессмысленная страсть, направлял наши мысли в другую сторону и рисовал нам тысячи невероятных картин. Мы воображали, что английские и голландские корабли настолько озлоблены потоплением лодок, что расправятся с нами, не слушая никаких наших доводов. Ведь у них было столько данных, что мы пираты: то же самое судно, которое потопило лодки на реке Камбоджа; получив известие, что нас хотят обыскать, мы обратились в бегство, обстреляв их лодки. К тому же, будь мы на их месте, мы бы действовали так же беспощадно.

Как бы то ни было, мы находились в постоянном страхе; и мне и моему компаньону по ночам грезилась виселица, веревки, нападение на нас, наша отчаянная защита; однажды мне приснилось, что нас взял на abordаж голландский корабль, и я повалил одного из нападавших на нас матросов; в неистовстве я изо всей силы хватил кулаком по стенке каюты, так что расшиб и поранил себе руку; от боли я проснулся.

Те же мысли днем и ночью мучили меня и моего компаньона; тогда мы успокаивали себя, говоря, что капитаны не имеют права поступать таким

образом: если они умертвят или замучат нас, то будут привлечены к ответственности по возвращении на родину. Однако, это утешение было слабое: их наказание все равно не могло бы вернуть нас к жизни.

Когда такие мысли овладевали мной, я весь был как в лихорадке, точно и взаправду сражаясь с неприятелем; кровь моя кипела, глаза сверкали. После такого возбуждения я всегда решал, что не стану просить пощады, буду защищаться до последней крайности и в последнюю минуту взорву корабль, лишь бы не дать поживиться неприятелю.

Чем более мучительными были эти тревоги, пока мы блуждали по морю, тем большей была наша радость, когда мы увидели себя в безопасности на берегу. Моему компаньону однажды приснилось, что у него на плечах огромная тяжесть, которую ему нужно вытащить на вершину холма, и он вдруг почувствовал, что силы покидают его; но в этот момент появился португальский лоцман и облегчил его; холм исчез, почва под ним стала ровная и гладкая. И все мы испытали подобное состояние. Когда мы вышли на берег, старый лоцман, с которым мы очень подружились, помог нам нанять квартиру и склад для наших товаров. Кроме того, он познакомил нас с тремя миссионерами, католическими священниками, которые уже несколько времени проживали в этом городе, проповедуя христианство. По моему, результаты их проповеди были ничтожны, китайцы, обращенные ими в христианство, едва ли заслуживали имени христиан, но это нас не касалось.

Один из этих миссионеров был француз, по имени отец Симон, веселый человек, прекрасного характера и очень приятный собеседник, не такой серьезный и важный, как другие два, португалец и генуэзец. Французский священник собирался ехать, по приказу начальника миссии, в Пекин, столицу Китайской империи и резиденцию императора, и ждал только другого священника, который должен был прибыть из Макао и сопровождать его. Не успели мы встретиться и поговорить немного, как он стал приглашать меня ехать вместе с ним, обещая показать мне все чудеса этой могущественной империи и, между прочим, величайший город в мире. «Город, — сказал он, — с которым не могут сравняться ваш Лондон и наш Париж, сложенные вместе».

Ему удалось почти убедить нас, но нам предварительно нужно было покончить наши дела, т.е. продать судно и товары, что было нелегко в этом глухом месте. Однако, нам повезло: старик португалец привел нам японского купца. Тот купил весь наш опиум по хорошей цене, заплатив за него золотом в монетах и слитках. Пока мы продавали опиум, мне пришлось в голову, не приобретет ли японец также корабль, и я приказал переводчику

обратиться к нему с этим предложением. Сперва купец только пожал плечами, но через несколько дней он пришел ко мне с одним миссионером в качестве переводчика и предложил мне следующее: он купил у нас большое количество товаров, не зная, что мы хотим продать также судно, теперь же у него не осталось больше денег, однако, если я соглашусь предоставив в его распоряжение экипаж корабля, чтобы отправить его на Филиппины с новым грузом, фрахт которого он оплатит, то, по возвращении оттуда в Японию, он купит корабль. Я склонен был принять его предложение и даже сам отправиться вместе с ним, однако, мой компаньон отговорил меня от этого последнего намерения. Вместо меня изъявил желание отправиться с кораблем молодой человек, предоставленный в мое распоряжение моим племянником. И я и мой компаньон согласились отдать молодому человеку в полную собственность половину корабля с тем, чтобы в будущем, если нам случится встретиться в Англии, он отдал нам отчет о другой половине. Молодой человек совершил очень удачное путешествие в Японию, на Филиппины, в Маниллу, а оттуда в Акапулько, на западном берегу Мексики. Через восемь лет он вернулся в Англию богатым человеком.

Покидая корабль, мы стали думать, как нам вознаградить, согласно уговору, тех двух матросов, которые так своевременно уведомили нас на реке Камбодже о враждебных замыслах английских и голландских кораблей. Кроме недоплаченного им хозяевами жалованья мы дали им еще небольшую сумму золотом и устроили англичанина канониром, а голландца боцманом на корабле.

Итак мы были теперь в Китае. Если я чувствовал себя заброшенным на край света в Бенгале, откуда мог многими способами добраться домой, то каково же было мне теперь, когда я оказался на тысячу миль дальше и все пути возвращения были для меня отрезаны?

Все свои надежды возлагали мы на ярмарку, открывавшуюся здесь через четыре месяца; там нам мог представиться случай купить китайскую джонку и отправиться на ней в другой порт. Кроме того, не исключена была возможность появления английского или датского корабля, который взял бы нас, так как наши личности не внушали никаких подозрений.

В надежде на это, мы решили остаться пока здесь, а для развлечения раза два или три предприняли путешествие внутрь страны. Прежде всего мы потратили десять дней на осмотр Нанкина, но город этот действительно стоит посмотреть; говорят, что в нем миллион жителей, однако, я этому не верю. Он построен геометрически правильно, улицы совершенно прямые и пересекаются под прямыми углами, что производит очень приятное

впечатление. Но когда я сравниваю жалкое население этой страны с европейцами, то постройки китайцев, их образ жизни, их управление, их богатство и их слава (как иные говорят) кажутся мне почти не стоящими упоминания. Я очень склонен думать, что мы дивимся величию, богатству, пышности, торговле и нравам китайцев не потому, что все это действительно достойно удивления, — нет, мы просто не ожидали встретить все это в столь варварской, грубой и невежественной стране. Не будь этого, что замечательного можно найти в китайских постройках по сравнению с европейскими дворцами? Чего стоит китайская торговля по сравнению с торговлей Англии, Голландии, Франции и Испании? Что такое китайские города по сравнению с нашими в отношении богатства, силы, внешней красоты, внутреннего убранства и бесконечного разнообразия? Что такое китайские порты с немногочисленными джонками и барками по сравнению с нашей навигацией, нашими торговыми флотами, нашими мощными военными кораблями? Наш Лондон ведет более обширную торговлю, чем необъятная китайская империя. Один английский, голландский или французский восьмидесятипушечный линейный корабль разбил бы и уничтожил весь китайский флот. Но богатство китайцев, их торговля, могущество их правительства и сила их армий, как я уже оказал, поражают нас, потому что, считая китайцев варварским языческим народом, почти что дикарями, мы ничего этого не ожидаем найти у них. Только благодаря этому подходу, их мощь и величие предстают нам в выгодном свете; в действительности же они не многого стоят; сказанное мною о китайском флоте относится также к китайской армии. Все вооруженные силы китайской империи, хотя бы даже они собрались на поле сражения в числе двух миллионов человек, были бы способны только опустошить страну и погибнуть с голоду. Они не могли бы взять самой маленькой фламандской крепости или померяться с дисциплинированной армией; одна шеренга немецких кирасиров или один эскадрон французской кавалерии обратили бы в бегство всю китайскую конницу. Миллион китайской пехоты не мог бы справиться с одним нашим регулярным пехотным полком, занявшим позицию, которую невозможно окружить; больше того, скажу без хвастовства, что 30.000 немецких или английских пехотинцев и 10.000 французских кавалеристов наголову разбили бы всю китайскую армию; так же точно мы превосходим их в искусстве укрепления городов, осады и обороны крепостей. В Китае нет ни одного укрепленного города, который мог бы в течение месяца выдержать осаду европейской армии; в то же время все китайские армии в совокупности никогда не взяли бы такого города как Дюнкирхен, даже если бы осада

продолжалась десять лет, — разве только измором. Правда, у них есть огнестрельное оружие, но они пользуются им неискусно и нерешительно, а китайский порох весьма ничтожной силы. Китайские солдаты плохо обучены, плохо владеют оружием, неискусны в атаке и легко поддаются панике при отступлении.

Должен сознаться, что по возвращении домой мне было странно слышать, как у нас превозносят могущество, богатство, славу, пышность и торговлю китайцев, ибо, по моим собственным наблюдениям, китайцы показались мне презренной толпой или скопищем невежественных грязных рабов, подвластных достойному их правительству. Словом, если бы расстояние, отделяющее Китай от Московии, не было столь огромным и если бы московская империя не была почти столь же варварской, бессильной и плохо управляемой толпой рабов, то царь московский без большого труда выгнал бы китайцев с их земли и завоевал бы их в одну кампанию. И если бы царь, могущество которого по слухам все возрастает и начинает достигать грозных размеров, направил свои армии в эту сторону вместо того, чтобы атаковать воинственных шведов, в чем ни одна из европейских держав не стала бы завидовать или препятствовать ему, то он сделался бы уже за это время императором китайским и не был бы бит под Нарвой королем шведским, силы которого в шесть раз уступали русским войскам. Подобно военному могуществу китайцев, их навигация, торговля и земледелие очень несовершенны по сравнению с тем, чего достигли европейцы; то же самое можно сказать относительно их знаний, науки и искусств. У них есть глобусы, планетные круги и кой какие сведения по математике; но стоит вам только немного ближе познакомиться с их наукой, и вы убеждаетесь, как ограничены самые первые их ученые! Они ничего не знают о движениях небесных тел, и народ у них так глуп и так невежественен, что солнечное затмение они объясняют нападением на солнце большого дракона, который похищает светило, так что по всей стране начинают что есть мочи бить в барабаны и греметь кастрюлями, чтобы испугать и прогнать чудовище, совсем как делаем мы, когда нам нужно загнать в улей рой пчел.

По возвращении из Нанкина я был не прочь посмотреть и Пекин, о котором так много слышал, и отец Симон приставал ко мне с этим буквально каждый день. Наконец, день его отъезда был назначен, так как прибыл другой миссионер из Макао, с которым он должен был ехать, и нам необходимо было решить окончательно, едем мы или не едем. Я направил его к моему компаньону, предоставив выбор последнему; тот в конце концов ответил утвердительно, и мы стали готовиться в путь.

Обстановка нашего путешествия сложилась очень благоприятная в смысле безопасности: мы получили позволение ехать в свите одного мандарина. Мандарины эти являются чем то вроде вице-королей или губернаторов провинций и путешествуют с большой помпой, принимая всевозможные почести от населения и часто совершенно разоряя его, ибо оно обязано обильно снабжать по пути всю многочисленную мандаринскую свиту. Так как мы ехали в этой свите, то также не терпели недостатка в еде и в корме для лошадей, однако, мы обязаны были платить за все по местным рыночным ценам, и экономя мандарина аккуратно взysкивал с нас причитающиеся деньги; таким образом, наше допущение в свиту мандарина, хотя и являлось выражением большой любезности по отношению к нам, не было, однако, совершенно бескорыстным, особенно, если принять во внимание, что таким же покровительством пользовались еще человек тридцать путешественников. Население доставляло мандарину провизию бесплатно, он же продавал нам ее за наличные деньги.

Двадцать пять дней ехали мы до Пекина, по стране чрезвычайно населенной, но плохо обработанной; хлебопашество, хозяйство и самый быт народа — все здесь было в жалком состоянии, хотя китайцы и хвалятся своим трудолюбием. Это вообще очень чванливый народ. Чванство их может превзойти только их бедность, и это много способствует их жалкому состоянию.

Голые американские дикари, по моему, счастливее китайцев, потому что если они не имеют ничего, то ничего и не желают. Китайцы же чванливы и нахальны, хотя большинство их оборванные нищие. Чванство у них невероятное: выражается оно в одежде и постройках, в толпах ненужных слуг или рабов и, что забавнее всего, — в презрении ко всему на свете, исключая себя самих.

Моего друга, отца Симона, и меня очень забавляли проявления чванства этих нищих. Так, например, милях в десяти от Нанкина нам случилось проехать мимо дома одного сельского дворянина, как его назвал отец Симон. Этот дворянин оказал нам честь на протяжении двух миль ехать с нами рядом; на коне он имел вид настоящего Дон-Кихота; такая же смесь напыщенности и бедности.

Одежда этого дона пристала бы разве шуту или скомороху. Это был балахон из грязного пестрого ситца, сшитый совершенно на шутовской образец с висячими рукавами, с разрезами и прорезами со всех сторон; а сверху был надет тафтяной камзол, засаленный как у мясника и свидетельствующий о том, что его честь отличается необычайною неопрятностью. Лошадь у него была жалкая, тощая, голодная, хромая; в

Англии за нее не дали бы больше 30—40 шиллингов. За ним шли пешком два раба, подгонявшие бедное животное; у самого всадника был кнут в руке, и он хлестал лошадь по голове так же усердно, как его рукава хлестали ее по хвосту. Всего за ним бежало около десяти или двенадцати слуг; и нам сказали, что он едет из города к себе в имение, находящееся от нас всего в полумиле. Мы двигались не спеша, все время наблюдая перед собой эту комическую фигуру. Когда же, после привала в одной деревне, продолжавшегося с час, мы проезжали мимо имения великого человека, то увидели его уже у дверей его дома, за трапезой. Перед домом было нечто вроде садика, но это не мешало видеть хозяина, и нам дали понять, что чем дольше мы будем смотреть на него, тем это будет ему приятнее.

Он сидел, под деревом, представлявшим собою род пальмы. Это дерево достаточно защищало его голову от солнечных лучей, однако, под ним помещался еще большой зонтик, что придавало этому местечку уютность. Наш помещик, толстый грузный мужчина, сидел, развалясь, в большом кресле с подлокотниками; две рабыни приносили и уносили кушанья; другие две оказывали ему услуги, которые едва ли бы согласился принять кто-либо в Европе, а именно: одна кормила своего господина с ложечки; другая снимала крошки и кусочки, которые господин ронял на свою бороду и жилет; — это большое жирное животное считало унижительным для себя делать то, что даже короли и монархи предпочитают делать сами, чтобы не позволить прикасаться к себе грубым пальцам своих слуг.

Я смотрел и думал о том, каким мучениям подвергает людей чванство и как несносно должно быть такое извращенное высокомерие для обыкновенного смертного. Постояв так немного и оставив бедняка в приятном убеждении, что люди останавливаются, чтобы полюбоваться его пышностью, тогда как на самом деле мы жалели и презирали его, мы пошли дальше и продолжали свое путешествие в Пекин.

Что касается нашего мандарина, с которым мы ехали, то ему воздавались царские почести; в пути он был окружен такой помпой, что мы едва могли видеть его издали. Все же я заметил, что свита его ехала на жалких клячах, которые не годились бы, вероятно, даже для английской почты. Впрочем, лошади эти так были закутаны упряжью, сбруей, попонами, что мы с трудом могли различить, тощие они или нет, так как видели только их голову да ноги.

Путешествие в общем было очень приятное, и я остался очень доволен им. Только одно досадное приключение случилось со мной. Переходя в брод одну реченку, моя лошадь упала и сбросила меня в воду. Речка была

неглубокая, но я искупался с головы до ног. Я упоминаю об этом случае, потому что моя записная книга, куда я заносил собственные имена, которые хотел запомнить, оказалась до такой степени попорченной, что, к большому сожалению, мне не удалось разобрать своих записей, и я не могу восстановить точное название некоторых мест, где я побывал во время этого путешествия.

Наконец, мы прибыли в Пекин. Со мною не было никого, кроме молодого человека, оставленного мне моим племянником в качестве слуги и оказавшегося весьма надежным и ловким; у моего компаньона тоже был только один слуга, приходившийся ему немного сродни. Да еще мы взяли с собою португальца-лоцмана, которому очень хотелось увидеть китайский двор, и заплатили за него все издержки по путешествию, ради удовольствия пользоваться его обществом и также потому, что он мог служить нам переводчиком — он понимал китайский язык, знал по французски и немного по английски. Вообще, этот старик оказывался нам всюду, где бы мы ни были, чрезвычайно полезным. Не пробыли мы и недели в Пекине, как он пришел к нам и, смеясь, рассказал, что в город прибыл караван московских и польских купцов и что через четыре или пять недель они собираются вернуться домой, в Московию, сухим путем. Он был уверен, что мы воспользуемся этим случаем и уедем, оставив его одного в Пекине. Мы посоветовались со своим компаньоном, подумали и сказали португальцу, что если он поедет с нами, мы повезем его за свой счет не только в Московию, но и в Англию, если ему будет угодно, ибо мы чувствовали себя в большом долгу у него. Он пришел в восторг от этого предложения и объявил, что готов ехать с нами хоть на край света.

Выехали мы из Пекина не через пять недель, как рассчитывали, а через четыре с лишним месяца, в начале февраля, по европейскому стилю.

Мой компаньон и старик-лоцман съездили тем временем в порт, где мы высадились, чтобы забрать оставленные там товары. Я же побывал в Нанкине с одним знакомые китайским купцом и купил девяносто кусков тонкой камчатной материи, двести кусков шелковой материи разных сортов, частью вышитых золотом, и все это я привез в Пекин, где стал ожидать возвращения своего компаньона. Кроме того, мы накупили очень много шелка-сырца и некоторых других товаров; ценность нашего груза только в этих товарах достигала трех тысяч пятисот фунтов стерлингов; эти товары, да еще чай, тонкие сукна и пряности мы погрузили на восемнадцать верблюдов; кроме них, у нас были еще верховые верблюды и несколько лошадей; всего двадцать шесть животных.

Нас собралась большая компания, — насколько я могу припомнить,

больше ста двадцати человек, отлично вооруженных и готовых ко всяким случайностям, и триста или четыреста лошадей и верблюдов. Наш караван состоял из людей разных национальностей, главным образом, из москвитов — в нем было шестьдесят московских купцов и обывателей, несколько человек из Ливонии и пять шотландцев, чему мы были очень рады, тем более, что они были люди состоятельные и весьма опытные в делах.

После дня пути наши вожатые, числом пять, созвали всех дворян и купцов, т.е. всех участников каравана, кроме слуг, на большой совет, как они выражались. На этом большом совете каждый из нас прежде всего внес известную сумму в общую кассу на необходимые путевые расходы — закупку фуража в тех местах, где его нельзя было достать иначе, на уплату проводникам, добывание лошадей и т. под. Здесь же был составлен план путешествия и построен караван, как они выражались, т.е. избраны начальники и помощники их, которые должны были выстраивать нас в линию при выступлении и поочередно командовать нами во время пути.

В этой части страна густо заселена и изобилует гончарами, приготовляющими глину для фарфора. Дорогой ко мне подошел лоцман-португалец и с лукавой улыбкой заявил, что хочет показать мне большую диковину и что после всего дурного, сказанного мной о Китае, я вынужден буду признать, что видел вещь, которой не увидел бы никогда на свете. Любопытство мое разгорелось. Наконец он сказал мне, что это помещичий дом, построенный из фарфора. — «Что ж, это возможно. Какой же он величины? Можем мы унести его в ящике на одном из наших верблюдов? Постараемся купить его». — «На верблюде!» — воскликнул старый лоцман, поднимая руки, — «бог с вами; в нем живет семья из тридцати человек!»

Мне очень захотелось посмотреть этот дом. Когда я подошел к нему, то убедился, что он деревянный, но штукатурка его действительно была фарфоровая. Снаружи фарфор был глазированный; освещенный солнцем, он красиво блестел, весь белый, расписанный синими фигурами, как на больших китайских вазах, которые можно видеть в Англии. Внутри же дома все стены, вместо деревянных панелей, были выложены квадратными плитками из великолепного фарфора, расписанными изящными рисунками всевозможных цветов; некоторые плитки образовывали какую-нибудь фигуру и были соединены так искусно, что совсем не видно было очертаний каждой из них. Полы в комнатах были тоже фарфоровые, твердые, как камень, вроде глиняных полов в некоторых частях Англии, например, Линкеншире, Ноттингемшире, Лестершире и др., и очень

гладкие, но не обожженные и не раскрашенные, за исключением некоторых комнат. Потолок был тоже фарфоровый, крыша же была покрыта блестящими черными фарфоровыми плитками. Словом, это был действительно фарфоровый дом, и если бы мне не приходилось продолжать путь, я посвятил бы несколько дней на тщательный его осмотр. Мне говорили, что в саду возле этого дома есть фонтаны и пруды, до дна вымощенные фарфором, и прекрасные фарфоровые статуи.

Так как фарфоровое производство чисто китайское, то неудивительно, что китайцы достигли в нем высокого совершенства, которое, мне кажется, впрочем, они сильно преувеличивают в своих рассказах. Так, например, мне рассказывали, будто один рабочий смастерил из фарфора целый корабль с мачтами, снастями, парусами, вмещающий пятьдесят человек. Если бы мой рассказчик прибавил, что корабль этот был спущен на воду и совершил плавание в Японию, я бы может быть сделал ему какие-нибудь возражения; а так все это было очевиднейшей ложью. Я улыбнулся и ничего не ответил. Два дня спустя мы перевалили через Великую Китайскую стену — укрепление, воздвигнутое для охраны страны от татар.

Стена эта проходит по горам и холмам даже в таких местах, где она совершенно не нужна, так как скалы и пропасти и без того непроходимы для неприятеля, а если бы он все же одолел их, то его не могла бы уже остановить никакая стена. Говорят, что длина ее около тысячи английских миль. В высоту, а в иных местах также в ширину она достигает четырех саженей. Таким образом, она является хорошей защитой от татар, но, конечно, не устояла бы и десяти дней против нашей артиллерии, наших инженеров и саперов.

По ту сторону стены население было редкое, и я понял необходимость путешествовать по этой стране не отдельными группами, а большим караваном, как мы, видя татарские отряды, бродившие повсюду вокруг. У них был такой жалкий вид, что я удивился, как это они могут представлять угрозу для столь обширной страны. Очередной начальник каравана разрешил шестнадцати из нас поохотиться; в сущности, это была охота только на баранов, но, пожалуй, ее можно было назвать охотой, потому что эти бараны дикие и удивительно быстро бегают; только они не могут бежать долго, и, погнавшись за ними, вы можете быть уверены в успехе, тем более, что они ходят обыкновенно стадами, по тридцать, сорок голов вместе и, как истые бараны, убегая, тоже обиваются в кучу.

Преследуя эту странную дичь, мы случайно столкнулись с татарским отрядом в сорок человек; лишь только они завидели нас, один из них затрубил в какое-то подобие рота, получился громкий режущий уши звук,

какого я никогда не слышал раньше, да, кстати сказать, и не желал бы услышать. Мы все догадались, что он призывает подмогу; и действительно, меньше, чем через четверть часа, на расстоянии мили показался другой отряд, человек в тридцать или сорок; но мы еще раньше того покончили с первым отрядом.

Случилось так, что с нами был один из шотландских купцов, торговавших с Москвой; заслышав звук рога, он в двух словах объяснил нам, что нам нужно, не теряя времени, самим напасть на татар, и, выстроив нас в линию, спросил, не боимся ли мы. Мы отвечали, что готовы следовать за ним, и он поскакал прямо к татарам. Те стояли нестройной толпой и глазели на нас, но лишь только заметили, что мы приближаемся, пустили в нас тучу стрел, к счастью, никому не причинивших вреда. Стрелки целили метко, но не рассчитали расстояния, и стрелы упали невдалеке от нас, а будь мы на двадцать ярдов ближе, наверное, несколько человек из нас были бы ранены, если не убиты. Мы тотчас остановились и, несмотря на дальность расстояния, ответили им на деревянные стрелы свинцовыми пулями, а сами поскакали во весь опор вслед за этими пулями с обнаженными саблями в руках, как приказал нам наш храбрый шотландец. Подскакав к ним вплотную, мы дали по ним залп из пистолетов и затем отъехали немного назад; они же бросились бежать в страшном смятении. Эта стычка имела то неприятное последствие, что, пока мы гнались за татарами, наши бараны убежали.

Все это время мы находились в китайских владениях, и татары еще не обнаруживали такой дерзости, как те, с которыми мы сталкивались впоследствии, но пять дней спустя мы вступили в огромную дикую пустыню, по которой шли три дня и три ночи. На вопрос, чьи это владения, наши вожатые объяснили, что эта пустыня, собственно, никому не принадлежит и составляет часть огромной страны Каракатая или великой Татарии, но тем не менее китайцы считают ее своею; что никто не охраняет ее от вторжения разбойников, и потому она слывет самым опасным местом на протяжении всего нашего пути, хоть нам придется пройти еще через несколько пустынь, еще более обширных.

Проходя через эту дикую равнину, которая, сознаюсь, на первый взгляд показалась мне очень страшной, мы несколько раз видели издали небольшие отряды татар, но те, повидимому, были заняты своими делами и не питали относительно нас никаких враждебных намерений, а потому и мы, подобно человеку, встретившемуся с дьяволом, пропустили их мимо, не тронув: если им нечего было сказать нам, то и нам, в свою очередь, нечего было сказать им.

После этого мы еще с месяц странствовали по владениям китайского императора; здесь дороги были уж не так хороши, как вначале, и шли большею частью через селения — местами укрепленные, из страха набегов татар.

Когда мы подходили к одному из таких городов (в двух с половиной днях пути от крепости Ном), я захотел купить верблюда, которых, как и лошадей, продавалось множество на пути нашего каравана. Место, где был этот верблюд, находилось в двух милях от городка. Я отправился туда пешком с нашим лоцманом, желая некоторого разнообразия впечатлений. Место оказалась болотистым, обнесенным стеной из дикого камня и охраняемым небольшим отрядом китайских солдат. Выбрав верблюда и сторговавшись, я ушел в сопровождении китайца, который вел моего верблюда, как вдруг на нас напало пятеро конных татар: двое из них схватили китайца и отняли от него верблюда, трое остальных бросились на меня и лоцмана, увидев, что мы безоружны. Действительно, у меня была только шпага — слабая защита против троих всадников. Однако, первый приблизившийся к нам татарин остановился, когда я обнажил ее: они большие трусы. В это время второй, подъехав ко мне слева, так хватил меня по голове, что я повалился без чувств и, очнувшись, не понимал, что со мной. К счастью, у лоцмана — еще раз выручившего меня в трудную минуту — был в кармане пистолет, о котором не подозревал ни я, ни татары, иначе они бы не напали на нас; но трусы всегда наглеют, когда думают, что не рискуют ничем. Видя, что я упал, старик храбро подбежал к ударившему меня татарину, схватил его одной рукой, а другой выстрелил прямо в голову. После этого он обернулся к другому, выстрелил, ранил его лошадь, та понесла, сбросила седока и упала на него. Тем временем вернулся китаец, потерявший верблюда; видя эту сцену, он подбежал к упавшему, выхватил у него из за пояса что-то вроде топора и размозжил ему голову. Третий татарин убежал, когда увидел, что лоцман целится в него из пистолета и, таким образом, победа осталась за нами.

Тем временем я немного пришел в себя и в первую минуту подумал, что просыпаюсь от глубокого сна; я был очень удивлен, увидя себя лежащим на земле, и не понимал, как это произошло. Вскоре, придя в сознание, я почувствовал боль, хотя не мог определить, где именно. Поднеся руку к голове, я замочил ее кровью; тут только я сообразил, что у меня болит, память мгновенно вернулась ко мне, я живо представил себе все подробности нападения и поднялся. Старик-лоцман, увидя меня на ногах, подбежал ко мне и радостно меня обнял, так как опасался за мою жизнь. Исследовав рану, он нашел ее неопасной. Действительно, через два-

три дня я был совсем здоров.

Однако, от этой победы нам было мало проку: мы потеряли верблюда, которого не могла возместить доставшаяся нам лошадь. Но замечательно, что когда мы вернулись в городок, китаец потребовал у меня уплаты за верблюда. Я отказался, и дело было передано местному китайскому судье. Воздаю ему должное: он обнаружил много ума и беспристрастия. Выслушав обе стороны, он строго спросил китайца, ходившего со мной покупать верблюда, чей он слуга. «Я не слуга, — ответил тот, — я только сопровождал иностранца». — «По чьей просьбе?» — спросил судья. — «По просьбе иностранца», — ответил китаец. — «В таком случае, — сказал судье, — ты был слугой иностранца; и, так как верблюд был вручен его слуге, то это все равно, что он был вручен ему самому, и он должен заплатить за него».

Вопрос был совершенно ясен, и я не мог возразить ни слова; восхищенный таким мудрым решением, я охотно заплатил ему за верблюда и послал за другим; сам я, однако, на этот раз предпочел не трогаться с места.

Когда мы находились приблизительно в двух днях пути от укрепленного города Ном, на границе Китая, к нам прискакал гонец — такие гонцы были разсланы по всей этой дороге — с известием, что всем путникам и караванам ведено остановиться и ждать, пока им не будет прислан конвой, ибо на этой самой дороге, милях в тридцати отсюда, видели огромное войско татар, числом тысяч в десять. И действительно, два дня спустя, нам прислали двести солдат из китайского гарнизона, стоявшего в городе, который находился влево от нас, и еще триста из города Ном, и с этим конвоем мы смело пошли вперед. Мы снова шли по пустыне и, пройдя пятнадцать-шестнадцать миль, заметили в стороне густое облако пыли — это значило, что враг близко. Скоро показались и татары; их было несметное войско, от которого отделился небольшой отряд и направился к нам на разведки; когда татары подъехали на расстояние ружейного выстрела, наш командир приказал нам, разделившись на два крыла, подскочить к ним с двух сторон и дать по ним два залпа, что и было исполнено; татары круто повернули влево и скрылись из виду.

Два дня спустя мы прибыли в город Ном, или Нон, затем переправились через несколько больших рек, прошли две ужасные пустыни — по одной из них мы шли целых шестнадцать дней — и 13-го апреля добрались до границы московских владений. Мне кажется, что первым городом, селением или крепостью, принадлежащим московскому царю, было Аргунское, лежащее на западном берегу реки Аргунь.

Я не мог не почувствовать огромного удовольствия по случаю прибытия в христианскую, как я называл ее, страну, или, по крайней мере, управляемую христианами. Ибо, хотя москвиты, по моему мнению, едва ли заслуживают названия христиан, однако, они выдают себя за таковых и по своему очень набожны.

Все реки здесь текут на восток и впадают в большую реку, которая называется Амур и впадает в Восточное море или Китайский океан. Дальше реки текут на север и впадают в большую реку Татар, называемую так по имени татар-монголов, самого северного племени этого народа, от которого, по словам китайцев, произошли все вообще татары; это самое племя, по утверждению наших географов, упоминается в священном писании под именем Гогов и Магогов.

Путешествуя по московским владениям, мы чувствовали себя очень обязанными московскому царю, построившему везде, где только были возможно, города и селения и поставившему гарнизоны-вроде солдат-стационаров, которых римляне поселяли на окраинах империи. Впрочем, проходя через эти города и селения, мы убедились, что только эти гарнизоны и начальники их были русские, а остальное население — язычники, приносившие жертву идолам и поклонявшиеся солнцу, луне и звездам, всем светилам небесным; из всех виденных мною дикарей и язычников эта наиболее заслуживали названия варваров, с тем только исключением, что они не ели человеческого мяса, как дикари в Америке. В одной деревне близ Нерчинска мне вздумалось, из любопытства, присмотреться к их образу жизни, очень грубому и первобытному; в тот день у них, должно быть, назначено было большое жертвоприношение; на старом древесном пне возвышался деревянный идол — ужаснейшее, какое только можно себе представить, изображение дьявола. Голова не имела даже и отдаленного сходства с головой какойнибудь земной твари; уши огромные, как козьи рога, и такие же высокие; глаза величиной чуть не в яблоко; нос словно кривой бараний рог; рот растянутый четырехугольный, будто у льва, с отвратительными зубами, крючковатыми, как нижняя часть клюва попугая. Одет он был в овчину, шерстью наружу, на голове огромная татарская шапка, сквозь которую торчали два рога. Ростом идол был футов в восемь, но у него не было ни ног, ни бедер и никакой пропорциональности в частях. Это пугало было вынесено за околицу деревни; подойдя ближе, я увидел около семнадцати человек, распростертых перед ним на земле. Невдалеке, у дверей шатра или хижины, стояли три мясника — я подумал, что это мясники, потому что увидал в руках у них длинные ножи, а посредине палатки трех зарезанных

баранов и одного теленка. Но это, повидимому, были жертвы, принесенные деревянному чурбану — идолу, трое мясников — жрецы, а семнадцать бедняков, простертых на земле — люди, принесшие жертвы и молившиеся об исполнении своих желаний.

Сознаюсь, я был поражен, как никогда, этой глупостью и этим скотским поклонением деревянному чуду. Я подъехал к этому идолу, или чуду — называйте, как хотите — и саблей рассек на-двое его шапку, как раз посередине, так что она свалилась и повисла на одном из рогов, а один из моих спутников в это время схватил овчину, покрывавшую идола, и хотел стащить ее, как вдруг по всей деревне поднятая страшный крик и вой, и оттуда высыпало человек триста; мы поспешили убраться по добру, по здорову, так как у многих туземцев были луки и стрелы. Но я тут же решил посетить их еще раз.

Наш караван должен был пробыть в этом городе еще три дня, так что у меня было время исполнить свое намерение. Я поделился им с одним шотландским купцом, побывавшим в Московии. Он сначала высмеял меня, но, видя, что моя решимость тверда (а она еще больше укрепилась после его рассказа о том, как, изувечив одного русского за оскорбление их идола, дикари раздели его донага, привязали к верхушке своего истукана, окружили и стали пускать стрелы, пока все его тело не было утыкано ими, а затем принесли в жертву, подвергнув сожжению у ног идола), сказал, что и он пойдет со мной, но прежде уговорит идти с нами еще одного своего земляка, рослого здорового парня. Он принес мне татарскую одежду из овчины и шапку, а также лук и стрелы, такое же одеяние он достал для себя и своего земляка, чтобы люди, при виде нас, не могли узнать, кто мы такие.

Весь вечер мы мешали горючий материал — водку, порох и другие легко воспламеняющиеся вещества, захватили с собой смолы в горшке и, когда стемнело, пустились в путь. Мы пришли на место в одиннадцать часов; деревня уже слала; только в большой хижине или шатре, где мы раньше видели трех жрецов, принятых мною за мясников, виднелся свет; подойдя к самой двери, мы услышали за дверью говор — пять или шесть голосов. Всех этих мы взяли в плен, связали им руки и заставили стоять и смотреть на гибель их идола, которого мы сожгли с помощью принесенных нами горючих веществ.

Утром мы снова вернулись к своим спутникам и деятельно занялись приготовлениями к отъезду; никому и в голову не пришло заподозрить, что мы провели ночь не в постелях. Но тем дело не кончилось. На другой день толпа народу собралась у городских ворот, требуя удовлетворения от русского губернатора за оскорбление их жрецов и сожжение великого Чам-

Чи-Тонгу — так звался их чудовищный идол. Губернатор всячески успокаивал их и, наконец, сообщил им, что нынче утром в Россию ушел караван и, быть может, их обидчики были как раз из этого каравана. После того он послал за нами и сказал, что если виновные из нашего каравана, им надо спастись бегством, и вообще, виноваты мы или нет, нам всем самое лучшее поскорее уйти отсюда. Начальник каравана не заставил себе повторять этого дважды. Два дня и две ночи мы ехали почти безостановочно и, наконец, сделали привал в деревне Плоты, а оттуда поспешили к Яравене; но уже на второй день перехода через пустыню по облакам пыли позади нас мы стали догадываться, что за нами есть погоня. На третий день, только что мы разбили лагерь, вдали показался неприятель в огромном количестве, и мы уцелели только благодаря хитрости одного Яравенского казака. Предупредив нашего начальника, что он направит неприятеля в другую сторону, к Шилке, он описал большой круг, подъехал к татарам, словно посланный нарочно гонец, и сказал им, что люди, сжегшие их Чам-Чи-Тонгу, пошли к Шилке с караваном неверных, т.е. христиан, с тем, чтобы сжечь тунгусского идола, доброго Шал-Исар. Татары поскакали в ту сторону и меньше чем через три часа совершенно скрылись из виду. А мы благополучно добрались до Яравены, а оттуда по ужасной пустыне до другой, сравнительно населенной области, т.к. в ней было достаточное количество городов и крепостей, поставленных московским царем, с гарнизонами для охраны караванов и защиты страны от набегов татар. Губернатор Удинска, с которым был знаком один из наших шотландцев, предложил нам конвой в 50 человек до ближайшей станции.

Я думал было, что, приближаясь к Европе, мы будем проезжать через более культурные и гуще населенные области, но ошибся. Нам предстояло еще проехать через Тунгусскую область, населенную такими же язычниками и варварами; правда, завоеванные московитами, они не так опасны, как племена, которые мы миновали. Одеждой тунгусам служат звериные шкуры, и ими же они покрывают свои юрты. Мужчины не отличаются от женщин ни лицом, ни нарядом. Зимой, когда все бывает покрыто снегом, они живут в погребках, сообщающихся между собою подземными ходами. Русское правительство нисколько не заботится об обращении всех этих народов в христианство, оно лишь прилагает усилия, чтобы держать их в подчинении

Миновав Енисейск на реке Енисей, отделяющей, по словам московитов, Европу от Азии, я прошел обширную, плодородную, но слабо населенную область до реки Оби. Жители все язычники, за исключением

ссылных из России; сюда ссылают преступников из Московии, которым дарована жизнь, ибо бежать отсюда невозможно.

Со мной не случилось ничего замечательного до самого Тобольска, столицы Сибири, где я прожил довольно долго вот по какому поводу.

Мы пробыли в пути уже семь месяцев. Зима приближалась быстрыми шагами. Из Тобольска я собирался или в Данциг, через Ярославль и Нарву, или в Архангельск, по Двине, чтобы сесть там на корабль, отправлявшийся в Англию, Голландию или Гамбург. Так как в это время года и Балтийское и Белое моря замерзают, то я решил перезимовать в Тобольске, рассчитывая найти в этом городе, расположенном под 60° сев. широты, обильную провизию, теплое помещение и хорошее общество.

Здесь климат был совсем не похож на климат моего милого острова, где я чувствовал холод только во время простуды. Там мне было трудно носить самую легкую одежду, и я разводил огонь только для приготовления пищи. Здесь же, чтобы выйти на улицу, нужно было закутываться с головы до ног в тяжелую шубу.

Печь в моем доме была совсем не похожа на английские открытые каминные, которые дают тепло, только пока топят. Моя печь была посреди комнат и нагревала их все равномерно; огня в ней не было видно, как в тех печах, которые устраиваются в английских банях.

Всего замечательнее было то, что я нашел хорошее общество в этом городе, расположенном в варварской стране, недалеко от Ледовитого океана, лишь на несколько градусов южнее Новой Земли. Неудивительно: Тобольск служит местом ссылки государственных преступников; он весь полон знати, князей, дворян, военных и придворных. Тут находился знаменитый князь Голицын, старый воевода Робостиский и другие видные лица, а также несколько дам. Через своего спутника, шотландского купца, с которым я здесь расстался, я познакомился с несколькими аристократами и не без приятности проводил с ними долгие зимние вечера.

Я разговорился однажды с князем ***, ссылкой царским министром, о своих необыкновенных приключениях. Он долго распространялся о величии русского императора, его неограниченной власти, великолепии его двора, обширности его владений. Я перебил его, сказав, что был еще более могущественным государем, чем московский царь, хотя мои владения были не так обширны, а подданные не так многочисленны. Русский вельможа был, повидимому, изумлен и пристально посмотрел на меня, не понимая, что я хочу сказать.

«Ваше изумление», отвечал я ему, «прекратится, как только я объяснюсь. Во первых, я неограниченно располагал жизнью и имуществом

всех моих подданных, и несмотря на эту неограниченную власть ни один из них не выражал недовольства ни мной, ни моим правлением». Тут он покачал головой и сказал, что в этом отношении я выше царя московского. «Все земли моего царства», продолжал я, «были моей собственностью, и мои подданные держали их у меня в аренде, совершенно добровольно; все они сражались бы за меня до последней капли крови, и никогда тиран — ибо таковым считал я себя — не был окружен такой всеобщей любовью и в то же время не внушал больше страха своим подданным».

Помучив некоторое время своих собеседников этими политическими загадками, я в заключение открылся им и подробно изложил историю своего пребывания на острове и все сделанное мной для себя и для своих подданных так, как это потом было мной записано. Собеседники мои были очень захвачены моим рассказом, особенно князь; со вздохом сказал он мне, что истинное величие состоит в умении владеть собой, и он не поменял бы моего положения на положение царя московского, так как считает себя более счастливым в уединении, на которое обрекло его изгнание, чем был когда-либо, находясь у власти при дворе его повелителя царя. Верх человеческой мудрости — умение приспособляться к обстоятельствам и сохранять внутреннее спокойствие, какая бы буря ни сверепствовала кругом нас. В первое время по прибытии сюда он рвал на себе волосы — одежду, как делали это перед ним другие ссыльные. Но через некоторое время, пристальнее заглянув в глубь себя и внимательнее осмотревшись кругом, он пришел к убеждению, что, если взглянуть на жизнь с некоторой высоты и понять, как мало подлинного счастья в этом мире, то можно быть вполне счастливым и удовлетворять свои лучшие желания при самой ничтожной помощи от себе подобных. Дышать чистым воздухом, иметь одежду для защиты от холода, пищу для утоления голода, совершать физические упражнения для поддержания здоровья — вот, по его мнению, все, что нужно нам от внешнего мира. И, хотя высокое положение, власть, богатство и удовольствия, которые выпадают на долю иных, не лишены известной приятности, но они служат обыкновенно самым низменным нашим страстям, вроде честолюбия, гордости, корыстолюбия, тщеславия и чувственности, — страстям, являющимся источником всяческих преступлений. Эти низменные страсти не имеют ничего общего с добродетелями, образующими истинного мудреца.

Лишенный в настоящее время мнимых радостей порочной жизни, он хорошо рассмотрел на досуге темные стороны этих радостей и пришел к убеждению, что одна только добродетель дает человеку истинную мудрость, богатство и величие и обеспечивает ему блаженство в будущей

жизни. В этом отношении все они здесь в ссылке гораздо счастливее своих недругов, наслаждающихся полнотой власти и благами богатства.

«Поверьте, сударь, говорю я не по тактическим соображениям, понуждаемый бедственными обстоятельствами; я совершенно искренно не чувствую никакого желания возвратиться ко двору, хотя бы царь, мой повелитель, снова призвал меня и восстановил во всем моем прежнем величии».

Он сказал, это так серьезно и с таким глубоким убеждением, что невозможно было усомниться в его искренности. Я ответил ему, что на своем острове я чувствовал себя как бы монархом, но его я считаю не только монархом, но и великим завоевателем, ибо тот, кто одерживает победу над своими безрассудными желаниями и обладает неограниченной властью над собой, у кого разум властвует над волей, — более велик, чем завоеватель государства. «Но, ваша светлость, разрешите мне задать вам один вопрос». «Пожалуйста, очень прошу вас». «Если вам будет дарована свобода, согласитесь вы уйти из этой ссылки?». «Вопрос ваш весьма щекотлив и требует тщательных разграничений для того, чтобы искренно ответить на него. Ничто в мире не могло бы, мне кажется, побудить меня освободиться из этой ссылки, кроме двух вещей: желания повидаться со своими и жить в более теплом климате. Но я заявляю вам, что придворный блеск, слава, власть, положение министра, богатство, веселье, удовольствия — вернее безумства — придворного меня ничуть не прельщают; — если сию минуту я получу письмо от моего повелителя, что он возвращает мне все отнятые у меня почести, то, заявляю вам — поскольку я знаю себя — я не променяю этой дикой пустыни, этих покрытых льдом озер на дворец в Москве». «Но, ваша светлость, вы можете быть лишены не только прелестей придворной жизни, власти, почестей и богатства, которыми вы наслаждались когда то, но и самых элементарных жизненных удобств, ваше состояние может быть конфисковано, ваша движимость расхищена, средства, оставленные вами здесь, могут оказаться недостаточными для удовлетворения самых насущных ваших потребностей». «Все это так, если вы принимаете меня за вельможу, князя и т.д. Я действительно князь; но смотрите на меня только как на человека, несколько не отличающегося от других людей; при этих условиях мне нечего бояться никаких лишений, разве только я заболею и окажусь инвалидом. Ответом вам пусть послужит наш образ жизни. Здесь нас пятеро высокопоставленных лиц; мы живем очень уединенно, как и подобает ссылкой, и остатки наших состояний, которые нам удалось спасти, избавляют нас от необходимости добывать пропитание охотой. Однако, бедные солдаты, не имеющие здесь этой

подмоги, живут ничуть не хуже нас, охотясь в лесах на соболей и лисиц. Поработав месяц, они могут существовать в течение целого года. Так как жизнь здесь недорого, то для этого нужно немного. Вот вам ответ на ваше замечание».

Я лишен возможности изложить здесь подробно все мои интересные беседы с этим замечательным человеком. Речи его были продиктованы глубоким знанием людей, основанным на долгом опыте и размышлениях.

Я прожил в Тобольске восемь месяцев, в течение мрачной и суровой зимы. Морозы были так сильны, что на улицу нельзя было показаться, не закутавшись в шубу и не покрыв лица меховой маской или вернее башлыком с тремя только отверстиями: для глаз и для дыхания. В течение трех месяцев тусклые дни продолжались всего пять или шесть часов, но погода стояла ясная, и снег, устилавший всю землю, был так бел, что ночи никогда не были очень темными. Наши лошади стояли в подземельях, чуть не околевая от голода; слуги же, которых мы наняли здесь для ухода за нами и за лошадьми, то и дело отмораживали себе руки и ноги, так что нам приходилось отогревать их.

Правда, в комнатах было тепло, так как двери в тамошних домах закрываются плотно, стены толстые, окна маленькие с двойными рамами. Пища наша состояла, главным образом, из вяленого оленьего мяса, довольно хорошего хлеба, разной вяленой рыбы и изредка свежей баранины и мяса буйволов, довольно приятного на вкус. Вся провизия для зимы заготавливается летом. Пили мы воду, смешанную с водкой, а в торжественных случаях мед вместо вина — напиток, который там готовят прекрасно. Охотники, выходявшие на промысел во всякую погоду, часто приносили нам прекрасную свежую оленину и медвежатину, но последняя нам не очень нравилась; у нас был большой запас чаю, которым мы угощали наших русских друзей. В общем, жили мы очень весело и хорошо.

Наступил март, дни заметно прибавились, и погода стала, наконец, сносной. Мои спутники стали готовиться к отъезду на санях, но сам я решил ехать прямо в Архангельск, а не к Балтийскому морю через Москву, и потому не торопился, зная, что европейские корабли приходят в Архангельск не раньше мая или июня и что, если я буду там в начале августа, корабли эти еще не успеют уйти. Таким образом все, кто собирался предпринять путешествие, выехали раньше меня. Много тобольских купцов ежегодно отправляются в Москву или Архангельск, чтобы распродать меха и закупить необходимые для здешнего края товары; так как им предстоит совершить свыше 800 миль пути, то они выезжают ранней весной.

В конце мая и я стал снаряжаться в дорогу, и во время этих приготовлений много размышлял над положением ссылаемых московским царем в Сибирь; там им предоставлялась свобода передвижения; я недоумевал, почему же они не уезжают в те страны, где им жилось бы удобнее. Мое недоумение, однако, рассеялось, когда я расспросил вышеупомянутого вельможу о причинах, мешающих им делать такие попытки.

«Примите во внимание, сударь, — сказал он мне, — особенности страны, в которой мы находимся, и наше положение ссыльных. Мы окружены здесь барьерами более крепкими, чем решетки и замки; с севера Ледовитый океан, куда не заходил ни один корабль, ни одна лодка, да если бы они и были у нас, мы не знали бы, куда уплыть на них. С остальных трех сторон на тысячи миль тянутся владения царя, где единственные проходимые дороги усеяны гарнизонами, так что мы не можем ни проехать по ним незаметно, ни миновать их».

Я не нашелся ответить ему и понял, что тюрьма, в которой они находятся, так же крепка, как московская цитадель; однако, мне пришло на ум, не могу ли я стать орудием освобождения этого превосходного человека, и я решил устроить ему бегство, чего бы это мне ни стоило. Воспользовавшись случаем, я как то вечером познакомил его со своим планом. Я сказал ему, что мне легко будет увезти его с собой, ибо охраны над ним нет никакой; и так как я направляюсь не в Москву, но в Архангельск, при чем иду в караване, так что могу и не останавливаться в городах, а располагаться лагерем, где мне будет угодно, то мы, вероятно, беспрепятственно доберемся до Архангельска, где я тотчас же посажу его на английское или голландское судно и в безопасности увезу его с собой. Все путевые издержки я возьму на себя, пока он не получит возможности содержать себя сам.

Он выслушал меня очень внимательно, не сводя с меня глаз в течение всей моей речи; и я видел по его лицу, что слова мои сильно взволновали его; он то краснел, то бледнел, глаза его блестели, дыхание спиралось; он даже не в состоянии был ответить мне сразу. Когда я кончил, он некоторое время молчал, затем обнял меня и сказал:

«Как жалок человек, если самые возвышенные порывы дружбы становятся ловушками для наших ближних, и мы вовлекаем друг друга в соблазн! Мой дорогой друг, ваше предложение столь искренно, столь любезно, столь бескорыстно и столь для меня выгодно, что нужно слишком мало знать людей, чтобы не быть повергнутым в крайнее изумление и не почувствовать глубочайшей признательности. Но неужели вы приняли за

чистую монету мои заявления о презрении к миру? Подумали, что я действительно достиг такой степени бесстрастия, что стою выше всех соблазнов мира? Поверили, что я не пожелаю вернуться, если меня призовут занять прежнее положение при дворе, если я вновь буду в милости у моего повелителя царя? Скажите откровенно, за кого вы меня приняли: за честного человека или хвастуна и лицемера?» — Тут князь замолчал. Сперва я подумал, что он ожидает моего ответа, но скоро заметил, что речь его была прервана охватившим его волнением. Признаюсь, я был удивлен и чувствами, охватившими этого человека, и его характером. Я привел ему еще несколько доводов, чтобы побудить его вернуть себе свободу; сказал ему, что он должен смотреть на мое предложение, как на дверь, открываемую ему небом для его освобождения, как на зов провидения, желающего дать ему возможность снова приносить пользу людям.

Тем временем он пришел в себя и с горячностью ответил мне: «Уверены ли вы, сударь, что это зов с неба, а не уловка иной силы, изображающей мое освобождение в радужных красках, между тем как на самом деле оно является прямым путем к гибели? Здесь ничто не искушает меня вернуться к моему прежнему жалкому величию; И я боюсь, что если попаду в другое место то семена гордости, честолюбия, корыстолюбия и сластолюбия, которые всегда прозябают в наших душах, оживут во мне, пустят корни и снова дадут пышный цвет; тогда счастливый узник, которого вы видите перед собой, распоряжающийся всеми движениями своей души, окажется жалким рабом своих страстей, несмотря на всю предоставленную ему свободу. Дорогой друг, позвольте мне остаться в этой благословенной ссылке, ограждающей меня от соблазнов, и не побуждайте меня купить призрак свободы ценой свободы моего разума. Ибо человек я заурядный, Так же подверженный страстям и слабостям, как и всякий другой... Не будьте же одновременно моим другом и моим соблазнителем!»

Если сначала я был изумлен, то теперь пришел в полное смущение и, ни слова не говоря, смотрел во все глаза на своего собеседника. От напряженной душевной борьбы он даже потом покрылся, несмотря на большой мороз. Я видел, что он чувствует потребность собраться с мыслями; поэтому я попросил его подумать над моим предложением и затем удалился в свою комнату.

Часа через два я услышал, как кто-то ходит подле моей двери. Я поспешил открыть ее, это был мой вельможа. «Дорогой друг, — сказал он, — вы почти убедили меня, но я нашел в себе силы побороть искушение. Не сердитесь, если я отклоню ваше предложение, я очень растроган, вашим

великодушием и пришел выразить вам свою искреннюю признательность. — Но я надеюсь, что мне удалось одержать победу над самим собой».

— «Друг мой, — спросил я его, — неужели вы станете противиться велению неба?» — «Сударь, — ответил он, — если бы небу было угодно, чтобы я уехал отсюда, оно внушило бы мне желание уехать; напротив, я твердо убежден, что небо внушает мне отказ от вашего предложения, и я бесконечно удовлетворен, что, разлучаясь со мной, вы оставляете здесь попрежнему честного, хотя и не свободного человека».

Мне оставалось только покориться и заявить, что мной руководили самые лучшие намерения. Князь сердечно обнял меня и заверил, что он в этом не сомневался; потом он преподнес мне соболий мех — подарок слишком роскошный для человека в его положении, и я хотел было отказаться от него, но он уговорил меня принять.

На другой день я послал князю через своего слугу небольшой ящик чаю, два куска китайского шелку, четыре слитка японского золота весом около шести унций, что далеко не окупало его соболей, так как в Англии они стоили около 200 фунтов. Он принял чай, кусок шелку и один из слитков, на котором была любопытная японская чеканка, но от остальных подарков отказался и передал через слугу, что желает поговорить со мной.

Когда я пришел к нему, он выразил надежду, что после нашего вчерашнего разговора я не буду больше побуждать его к отъезду; но раз уж я сделал ему столь великодушное предложение, он просит меня оказать такую же любезность другому лицу, в судьбе которого он принимает самое горячее участие. Я ответил ему, что не могу обещать помочь другому с такой же готовностью, как помог бы ему, но если ему угодно будет назвать имя лица, за которого он просит, я дам ему определенный ответ. Он сказал мне, что имеет в виду своего сына, который находится в таком же положении, как и он; я не видел его, так как сын этот находится за двести миль отсюда, по другую сторону Оби; но если я дам свое согласие, он пошлет за ним.

Я не стал долго колебаться и согласился, но дал понять, что делаю эту любезность исключительно из уважения к нему. На следующий же день он послал за своим сыном, и дней через двадцать тот приехал с пятью или с шестью лошадьми, нагруженными богатыми мехами, представлявшими собой очень большую ценность. Слуги привели лошадей в город, оставив молодого вельможу на некотором расстоянии; он пришел к нам incognito, ночью, отец познакомил его со мной, и мы вместе обсудили подробности нашего путешествия.

Я накопил много соболей, чернобурых лисиц, горностаев и других дорогих мехов в обмен на привезенные мною из Китая товары, особенно на гвоздику и мускатные орехи, которые я продал частью здесь, частью в Архангельске по более высоким ценам, чем я мог бы продать их в Лондоне. Мой компаньон, больше, чем я, заинтересованный в коммерческих прибылях, остался так доволен этой сделкой, что не жалел о нашей долгой стоянке в Тобольске.

Наконец, в начале июня мы покинули этот далекий город, о котором, я думаю, мало кто слышал о Европе: настолько лежит он в стороне от торговых путей. Наш караван был невелик, он состоял всего из тридцати двух лошадей и верблюдов, которые все считались моими, хотя на самом деле одиннадцать из них принадлежали моему новому спутнику. Было также вполне естественно, что я беру с собой некоторое количество слуг, и молодого вельможу я выдавал за своего управляющего. За какого барина принимали меня русские, — не знаю, потому что не спрашивая об этом. Нам предстояло одолеть самую обширную и трудно проходимую пустыню из всех, что были на моем пути из Китая. Я говорю трудно проходимую, потому что почва местами была очень низкая и болотистая, а местами очень неровная; зато нас утешали, что на этом берегу Оби не показываются отряды татар и грабителей; однако, мы убедились в противном.

У моего спутника был верный слуга-сибиряк, который в совершенстве знал местность и вел нас окольными дорогами в обход главнейших городов и селений на большом тракте, таких как Тюмень, Соликамск и др., так как московитские гарнизоны, расположенные там, весьма тщательно обыскивают путешественников, опасаясь, как бы этим путем не убежали ссыльные. Таким образом, путь наш все время проходил пустыней, и мы вынуждены были располагаться лагерем в палатках вместо того, чтобы ночевать с удобством в городах. Но скоро Молодой вельможа, не желая причинять нам беспокойство, настоял, чтобы мы заходили в города, сам же останавливался со слугой в лесу и затем вновь присоединялся к нам в условленных местах.

Наконец, переправившись через Каму, которая в тех местах служит границей между Европой и Азией, мы вступили в Европу; первый город на европейском берегу Камы называется Соликамском. Мы думали увидеть здесь другой народ, другие обычаи, другую одежду, другую религию, другие занятия, но ошиблись; нам предстояло пройти еще одну обширную пустыню, тянувшуюся двести, а в иных местах семьсот миль. Эта мрачная местность мало чем отличалась от монголо-татарских областей; население, большей частью языческое, стояло немногим выше американских дикарей:

их дома, их города полны идолов, образ жизни самый варварский; исключение составляют только города и близлежащие селения, жители которых являются христианами или мнимыми христианами греческой церкви, но религия их перемешана со столькими суевериями, что в некоторых местах едва отличается от простого шаманства.

Проезжая по лесам этой пустыни, мы думали, что все опасности остались уже позади; однако, мы едва не были ограблены и перебиты шайкой разбойников; кто они были — остяки ли или же охотники на соболей из Сибири — не знаю; все верхом, вооруженные луками и стрелами. Показались они в числе сорока-сорока пяти человек, подъехали на расстояние двух ружейных выстрелов и, не говоря ни слова, окружили нас. Когда они перерезали наш путь, все мы, в числе, шестнадцати человек, выстроились в линию перед нашими верблюдами и послали слугу-сибиряка посмотреть, что это за люди. Больше всех интересовался результатами его разведки молодой вельможа, опасавшийся, уж не погоня ли это за ним. Наш посланный подъехал к всадникам с белым флагом и окликнул их; несмотря на то, что сибиряк говорил на нескольких туземных языках, он не мог понять ни слова из того, что говорили ему люди. Поняв по их знакам, что они будут стрелять в него, если он подъедет ближе, малый вернулся назад без всякого результата. Судя по костюму, он считал их за татар, калмыков или черкесов, но он никогда не слышал, чтобы они заходили так далеко на север.

Перспектива была не радостная, однако делать было нечего. По левую руку от нас на расстоянии четверти мили виднелась небольшая роща или купа деревьев у самой дороги. Я решил немедленно направиться к этой роще и как можно лучше укрепиться в ней. Я рассудил, что, во первых, деревья будут служить нам некоторой защитой от стрел, а во-вторых, неприятель не сможет атаковать нас в этой позиции в конном строю. Этот совет дан был мне стариком-лоцманом, который обладал превосходной способностью подбодрять и выручать в минуту серьезной опасности. Мы быстро помчались к этой роще и достигли ее без всякой помехи со стороны татар или разбойников, мы так и не знали, как назвать их. Когда мы прибыли туда, то, к великому нашему удовлетворению, обнаружили с одной стороны леска болото, а с другой — ручеек, втекавший в речку, составлявшую приток крупной реки Вишеры (Wirtska). Деревьев на берегу этого ручья было не более двухсот, но все они были толстые и росли густо, так что являлись прекрасной защитой от неприятеля, по крайней мере, пока он был верхом. А чтобы затруднить пешую атаку, наш изобретательный португалец надрубил ветки у этих деревьев и переплел их между собою,

так что мы оказались окруженными почти сплошной изгородью.

Мы простояли в ожидании несколько часов, но неприятель все не двигался; только часа за два до наступления темноты он устремился прямо на нас, получив незаметно для нас подкрепление, так что теперь разбойничий отряд состоял из восьмидесяти всадников, в числе которых было несколько женщин. Когда они приблизились на расстояние половины ружейного выстрела, мы дали холостой залп и крикнули им по русски: «Что вам нужно? Убирайтесь прочь!» Они не поняли ни слова и с удвоенной яростью бросились к роще, не подозревая, что мы отлично забаррикадированы и позиция наша неприступна. Старик-лоцман, исполнявший одновременно обязанность полковника и инженера, приказал нам не стрелять, пока они не приблизятся на расстояние пистолетного выстрела, чтобы бить наверняка. Мы просили его поскорей скомандовать «пли», но он все медлил и приказал стрелять только, когда неприятель был на расстоянии двух пик. Залп наш был так удачен, что мы убили четырнадцать всадников, не считая раненых людей и лошадей; ибо ружья наши были заряжены несколькими пулями.

Огонь наш страшно изумил неприятеля, и он отхлынул от нас саженой на двести; тем временем мы снова зарядили наши ружья, сделали вылазку, захватили штук пять лошадей, всадники которых были, должно быть, убиты, И, подойдя к мертвым, ясно увидели, что это татары; мы только не могли понять, откуда они и каким образом им удалось забраться так далеко на север.

Спустя час они снова сделали попытку атаковать нас, зайдя для этой цели с другой стороны рощи. Но увидев, что мы защищены со всех сторон и готовы дать им отпор, татары отступили, и мы решили провести в этой роще всю ночь. Конечно, спали мы мало и большую часть ночи потратили на укрепление нашей позиции, забаррикадирование входов в рощу и на бдительное наблюдение за неприятелем. На рассвете нас ожидало неприятное открытие. Наш противник не только не был напуган оказанным ему вчера приемом, но значительно усилился: число его возросло до трехсот человек, и он раскинул с дюжину палаток или шатров, словно решившись осадить нас; этот лагерь был расположен на открытой равнине, на расстоянии трех четвертей мили от нас. Мы были страшно поражены этим открытием, и, сознаюсь, я считал себя погибшим со всем моим имуществом. Потеря имущества (хотя оно было весьма значительно) мало беспокоила меня, но перспектива попасть в руки этих варваров, когда я почти оканчивал свое путешествие и находился в виду порта, где мы были уже в безопасности, после счастливого преодоления стольких затруднений,

стольких опасностей, ужасала меня. Что касается моего компаньона, то он был положительно взбешен и объявил, что потеря его добра разорит его, что он скорее погибнет, чем попадет в плен, и будет драться до последней капли крови.

Молодой русский вельможа, отличавшийся большой храбростью, был того же мнения. Старик-лоцман считал, что наша позиция неприступна и мы можем выдержать натиск всей этой орды. Весь день мы обсуждали, какие нам принять меры; но к вечеру мы увидели, что число наших врагов еще больше возросло. Возможно, что они разделились на несколько отрядов в поисках добычи и те всадники, с которыми мы встретились, послали гонцов другим отрядам, чтобы они шли на помощь; и мы боялись, что к утру их понаедет еще больше. Тогда я спросил у людей, которых мы взяла из Тобольска, нет ли какихнибудь окольных путей или тропинок, по которым мы могли бы незаметно уйти ночью и добраться до города, где можно получить вооруженную охрану.

Сибиряк, слуга молодого вельможи, сказал, что если мы хотим уклониться от сражения, то он берется провести нас ночью по одной тропе, которая ведет на север, к городу Петрову, и уверен, что татары не заметят нашего бегства; но он заявил, что господин его не собирается бежать и предпочитает сражаться. Я ответил ему, что он плохо понял намерения своего господина; он настолько рассудителен, что не станет драться из любви к драке. Я не сомневаюсь в его храбрости, которую он столько раз показал на деле. Однако, он должен отлично сознавать всю бессмысленность борьбы семнадцати человек с пятьюстами, если только к ней не вынуждает крайняя необходимость. Таким образом, если нам представляется возможность бежать в эту ночь, то мы должны сделать эту попытку. Сибиряк ответил, что господин его дал ему такой строгий приказ, что он рискует жизнью, если ослушается его. Однако, мы вскоре убедили его господина согласиться с нами и немедленно начали приготовления к бегству.

С наступлением сумерек мы развели у себя большой огонь так, чтобы он горел до утра, с целью внушить татарам мысль, будто мы все еще находимся в роцце. Но когда совсем стемнело, т.е. когда показались звезды (раньше наш проводник не хотел пускаться в путь), мы навьючили лошадей и верблюдов и пошли за нашим новым проводником, который, как я заметил, ориентировался по полярной звезде.

После утомительного двухчасового перехода взошла луна и стало светлее, чем нам было нужно; однако, к шести часам утра мы сделали около сорока миль, правда, совсем загнав своих лошадей. Тут мы

добрались до русской деревни Кермазинское, где отдохнули, и ничего не слышали о татарах-калмыках весь этот день. Часа за два до наступления темноты мы снова отправились в путь и ехали до восьми часов утра, не так быстро, как в прошлую ночь. В семь часов мы переправились через небольшую речку Киршу и затем прибыли в большой русский город Озома (?). Там мы слышали, что по окрестным степям шныряет несколько отрядов калмыков, но что теперь мы в полной безопасности; легко себе представить, как мы были рады этому. Мы переменили лошадей и отдыхали в течение пяти дней. Чтобы вознаградить сибиряка за то, что он так удачно провел нас сюда, я и компаньон мой дали ему десять пистолей.

Через пять дней мы прибыли в Вестиму (?) на реке Вычегде, впадающей в Двину, и таким образом счастливо приблизились к концу нашего сухопутного путешествия, ибо река Вычегда судоходна и нас отделяло только семь дней пути от Архангельска. Из Вестимы мы прибыли третьего июля к Яренску, где наняли две больших баржи для наших товаров и одну для себя, 7-го июля отчалили и 18-го благополучно прибыли в Архангельск, проведя в пути один год, пять месяцев и три дня, включая восьмимесячную остановку в Тобольске.

В ожидании корабля нам пришлось прожить в Архангельске шесть недель, и мы прождали бы и больше, если бы нас не выручил гамбургский корабль, пришедший месяцем раньше, чем сюда приходят обыкновенно английские корабли. Рассудив, что Гамбург такой же хороший рынок для сбыта наших товаров, как и Лондон, мы зафрахтовали этот корабль. Когда мои товары были погружены на него, естественно было водворить на корабле моего управляющего, чтобы присматривать за ними; таким образом, молодой русский имел удобный повод укрыться и ни разу не показывался на борту во все время нашей стоянки, боясь, как бы его не заметил и не узнал ктонибудь из московских купцов.

Мы отплыли из Архангельска 20-го августа того же года и после довольно благоприятного путешествия прибыли в устье Эльбы 13-го сентября. Здесь мой компаньон и я очень выгодно распродали наши китайские товары и сибирские меха. Когда мы поделили барыши, на мою долю пришлось 3475 фунтов, 17 шиллингов, 3 пенса, несмотря на все наши потери и расходы: я включаю сюда и стоимость приобретенных мной в Бенгале алмазов, достигавшую 600 фунтов.

Тут молодой вельможа покинул меня и поднялся по Эльбе в Вену, где хотел искать покровительства при дворе и откуда мог снестись с оставшимися в живых друзьями его отца. Перед отъездом он принес мне благодарность за оказанную ему услугу и любезное обращение со стариком

князем, его отцом.

В заключение скажу, что, пробыв около четырех месяцев в Гамбурге, я сухим путем отправился в Гаагу, где сел на корабль и прибыл в Лондон 10-го января 1705 года, после отсутствия из Англии; продолжавшегося десять лет и девять месяцев.

И здесь, порешив не утомлять себя больше странствованиями, я готовлюсь в более далекий путь, чем описанные в этой книге, имея за плечами 72 года жизни, полной разнообразия, и научившись ценить уединение и счастье кончать дни свои в покое.